Ю.С.Семенов

ДУНЕЧКА И НИКИТА

1965

Дунечка и Никита

Юлиан Семенович Семенов

Аннотация
Юлиан Семенович Семенов. ДУНЕЧКА И НИКИТА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
О книге

Аннотация

У супругов Степановых не самый лучший день — они идут в суд разводиться, а дочку Дуню оставляют на попечение юного дяди Никиты. У Никиты день расписан по минутам — ему надо успеть в институт, на запись радиоспектакля, помочь другу сдать экзамен, а попутно еще выяснить отношения с подругой… И везде его должна сопровождать Дунечка!

Юлиан Семенович Семенов
ДУНЕЧКА И НИКИТА

I

— Идиоты, — сказал Никита. — Пустите, спать хочу.

Он лежал на кровати одетый. Он лег под утро, потому что всю ночь просидел над книжками по актерскому мастерству. Голову он накрыл подушкой, чтобы не слышать шума с улицы. Улица просыпалась рано. Дворник сонно переругивался с милиционером и громко шаркал метелкой по сухому тротуару. В доме напротив, на втором этаже, в третьем окне слева, мальчик в очках садился за рояль по утрам и наяривал гаммы. Никита часто разглядывал его в бинокль. У очкастого мальчика были короткие пальцы и веснушчатый нос. Никита его ненавидел.

Степанов снова тронул Никиту за плечо.

— Ну? — спросил Никита из-под подушки. — Чего?

— Вставай.

— Гады вы все. Мучаете человека.

— Мы привели Дуню, — сказал Степанов.

Никита сбросил подушку, сел на кровати и стал тереть лицо. Он тер лицо обстоятельно, разминая мышцы по системе йогов.

— Все-таки да? — спросил он.

— Что я могу поделать?

— Когда?

— Назначили на десять утра.

— Кто судья?

— Черт его знает. У тебя нет ничего выпить?

— Нет, потому что пить нехорошо, если сражаешься или когда пишешь. Так, кажется, у Папы... А я сегодня сражаюсь. Ну-ка, стань. Колоссальный прием... Протяни левую. Захватываю у кисти, понял? Рывок на себя, ногу вперед с резким выбросом — и ты в партере.

— Я, милый, на галерке.

— Слушай, у меня сегодня зачет по драке, а может, еще консультация по мастерству. Что я стану делать с Дунькой?

— Нам ее не с кем оставить.

— А как ее будут делить?

— Отстань, а?

— В холодильнике есть прекрасный квас. Хочешь? Могу выдать.

— Я хочу выпить.

— У тебя, кстати, деньги есть?

— Есть.

— Одолжи десятку.

— На.

— До, ре, ми, фа, соль, ля, си, мне спасибо, вам мерси, — сказал Никита и пошел в ту комнату, где Надя сидела с Дунечкой.

— Здоро́во, сестреночка, — бодро сказал Никита и поцеловал Надю. Племяшечка, привет.

— А я сегодня весь день с тобой буду, — сказала Дуня.

— Мешать станешь?

— Конечно.

— Выдеру.

— Меня драть нельзя, я нервная.

— Вы оба понимаете, что творите? — спросил Никита. — Может, отложите ваш бракоразводный про...

— Никита! — Надя показала глазами на Дуню.

— Ничего, говорите, я вас не буду слушать, — сказала Дунечка и приложила пальцы к ушам, — я вместо этого смотреть буду.

— Пожалуйста, не отпускай ее ни на шаг, — сказала Надя, — нам просто не с кем ее оставить, понимаешь? Никого нет, кроме тебя.

— Мама вернется послезавтра...

— Я не виновата, что все это назначили на сегодня.

Дунечка пошла в ту комнату, где у окна сидел Степанов. Она шла, подпрыгивая на носочках.

— Смотри, — сказала она, остановившись возле двери. — Я умею на самых кончиках, как балерина.

— Ах ты рыбонька моя, — сказала Надя и вышла на кухню.

Никита пошел следом за ней.

— Еще ж не поздно, — сказал он. — Ты ведь любишь его.

— Я его ненавижу.

— Он тебя любит.

— Он негодяй, я его видеть не могу.

— Ты без него повесишься через полгода.

— Ну и пусть.

— А как вы будете с Дунькой?

— Она будет со мной.

— Она будет без отца.

— Она будет со мной, — повторила Надя, — ясно тебе? И вообще, не суй свой нос туда, куда не надо.

— Как с Дунькой сидеть, так «Никиток», а как говорю правду — так «не суй нос». Ты — сумасшедшая.

— Сам очень хороший.

— Мне по долгу велено, я — артист. Артист обязан быть сумасшедшим, иначе он станет дерьмом.

Никита ушел в ванную, залез под душ и задернулся занавеской. Он плескался и повизгивал тонким голосом.

— Надька, — крикнул он, — потри спину.

Надя выключила газ, поставила медную кофейницу на стол и пошла в ванную.

— Какой долдон вымахал, — сказала Надя, — а вроде вчера я тебя грудного купала.

— Не подглядывай, — сказал Никита, — я тебя стесняюсь. Слышь, Надьк, а чего ты такая красивая перед разводом стала? Влюбилась? Или страдание делает женщину прекрасной?

— Страдание. Нагнись ниже.

— Больно дерешь!

— Не кричи. У тебя спина грязная.

— Спина — не душа, прожить и с такой можно. Слушай, а вот для вас имеет значение, какая у мужчины фигура?

— Конечно.

— У меня ноги тонкие.

— Дурашка, — сказала Надя, — это красиво.

Она села на край ванны и заплакала. Плакала она по-детски: у нее катилось по щекам много слез и сразу же краснел нос.

— Идиоты, — сказал Никита, — вы идиоты. Выйди, я буду вытираться.

Степанов сидел возле окна, а Дунечка танцевала посреди комнаты. Она любила танцевать.

Степанов смотрел на дочь и вспоминал, как семь лет назад в такой же летний день Дунечку привезли из родильного дома.

Есть разница в том, как относятся к новорожденному мать и отец. Надя подолгу просиживала возле Дунечки — сморщенной, коричневолицей, пищащей хриплым голосишком, — и смотрела на нее с умилением, и находила сходство: «Уши у нее твои, и брови твои, и подбородок твой». А Степанов смотрел на этот пищащий комочек с осторожным любопытством, не видел никакого сходства, но соглашался с Надей и недоуменно хмыкал: «Моя дочь...»

Люди — те же позвоночные, только высшая их форма. Волчица облизывает детеныша, подолгу глядит на него, положив длинную морду на толстые лапы, а волк гуляет себе по лесу, мимо слепых волчат проходит равнодушно — не придавить бы, — и только. Волк начинает брать детеныша с собой, когда тот делается постарше и когда мать уже не смотрит на него с такой нежностью, а порой даже прикусит за загривок, если что не так. У зверей младенчество принадлежит матери, зрелость — отцу. У лю-

дей — так же.

— Папочка, — спросила Дуня, — а у вас когда начнется баракоразводный?

— Что?

— Так Никита сказал.

— Не болтай, мать, ерунды...

— Ну какая ж я тебе мать, — рассудительно сказала Дунечка, — я твоя дочка.

— Дуньк, скажи «рыба», — попросил Степанов, закрыв глаза.

— Рыба.

— Раньше ты говорила — лыба. Ну-ка, иди, я тебя поцелую.

— Вы меня всегда целуете, когда ссоритесь.

— Смотри, какой пух тополиный летает.

— А зачем он летает?

— Весна...

— Пусть бы зимой летал, тогда падать не больно.

Вошел Никита:

— Она уже ушла.

— Пока, Дунечка, Никиту слушаться безо всяких.

— А со всякими?

Никита и Степанов посмотрели друг на друга. Степанов поднялся, потянулся, захрустев пальца-

ми, и пошел в суд — разводиться.

— Дунька, порубать хочешь?

— Знаешь, как папа говорит? Он говорит: «рубансон-гоглидзе» и «кирневич-валуа».

— А что такое «кирневич-валуа»?

— Очень просто. Это когда в рюмку наливают водку.

— Ясно. Яичню «рубансон-гоглидзе»?

— Не хочется.

— Мало ли что не хочется... Надо. Человек есть то, что он ест. Поняла?

— Нет.

— Что нет?

— Как же он может быть тем, что ест? Ведь человек не еда.

— Ты у меня Гегель.

— Ну какой же я Гегель, Никит? — снова рассудительно ответила Дунечка. — Я девочка.

— Ладно, девочка. Сиди, я пойду глазунью жарить.

Дунечка осталась в комнате одна. Улыбка сошла с ее лица, и оно вдруг сделалось взрослым и скорбным. Она подошла к окну и стала разглядывать улицу, по которой с ревом проносились расплющенные машины, торопились люди — большеголовые и с коротенькими ножками. А

когда к остановке подъехал рычащий автобус и пустил струю дыма, Дунечка сделала шаг от окна — так он был грозен, этот красный автобус, если глядеть сверху.

Дунечка еще немного поглядела в окно, потом ей это наскучило, и она решила порисовать. Она взяла красный карандаш и нарисовала на оборотной стороне синей тетрадки танцующую женщину с сумочкой в левой руке. Глаза танцовщицам Дунечка рисовала длинные и раскосые, волосы — распущенные, падающие на лоб. Она умела рисовать танцующих женщин: она чувствовала движение и, когда рисовала, делала ногами те самые движения, которые в рисунке повторяли танцовщицы с худыми длинными руками, с сумочками и в шляпках на распущенных волосах.

Дунечка полюбовалась танцовщицей, немного потанцевала сама, а потом, вздохнув, принялась убирать Никитину кушетку. Движения ее были точны и повторяли движения матери, когда та по утрам убирала кровати.

Дети точно повторяют движения. Но кто сказал, что они так же точно и цепко не повторяют те слова, которые слышат? Кто сказал, что они не понимают смысл этих слов — тех

злых, обидных и горьких слов, без которых вряд ли обходится какая семья?

«Ты еще маленькая», «ты этого не понимаешь». Какая глупость! Плохая память — бич людей. Родители забывают самих себя — семилетних. Вспомните себя в семь лет те, которым сейчас тридцать! Вспомните! Ведь вы все понимали в семь лет — особо остро, может быть, даже точней, чем понимаете сейчас, потому что тогда ваше сознание не было загромождено тем, что ханжи называют «богатым опытом». Доброта человека должна проверяться его отношением к детям.

— Дунька, иди сюда! — крикнул из кухни Никита. — Яичня готова.

— Где у тебя веник?

— Веник после, сначала калории.

— А что это — калории?

— Единицы тепла.

— Какие единицы? — спросила Дунечка. — Длинные палочки?

— Разные бывают.

— Они вроде микробов?

— Двоюродные братья.

— Баба говорит, что у микробов есть руки и ноги.

— А как про мозг? Баба на этот счет данных не имеет?

— Дурачок ты даже совсем, — сказала Дунечка таким голосом, каким Надя говорила Степанову, когда радовалась чему-нибудь. — Глупенький совсем даже.

— Ах ты моя душечка! — засмеялся Никита.

— А знаешь, как мама говорила, когда они ссорились?

— Знаю...

— Я тебе сделала сюрприз на букву «у», Никит...

— Какой?

— Уб...

— Ну, давай, давай... — сказал Никита, глядя в газету.

— Я так не буду. Ты не со мной говоришь.

— Дуня, запомни раз и навсегда: газета — это самое массовое оружие.

— Как сабля?

— Почти.

— Убра...

— Не понимаю.

— Убрала кровать, дурачок!

— Ты давай без фамильярности. Я не дурачок, а твой дядька.

— Ты не говори «дядька», ты «дядя» говори.

— Почему?

— «Дядьки» в магазинах ходят, и «тетки» тоже.

— Ешь яичню.

— Не хочется.

— А зря.

— Я когда маленькая была, говорила «хочечя», а не «хочется».

— А сейчас ты большая?

— Конечно. Осенью в школу пойду.

— Хочется в школу?

— Что ты... Кому хочется учиться?

— Евдокия, ты — враг прогресса, — сказал Никита. — Пошли в институт, я драться должен.

II

Надя сидела в темном углу, на скамейке, отполированной до зеркального блеска тысячами людей. В судах много темных углов и отполированных скамеек. Степанов гулял в садике, где толпились люди, вызванные на судебные заседания. Люди говорили негромко, но очень оживленно, и все, как один, курили «гвоздики».

Один из заседателей задерживался на полчаса, и поэтому начало судебного разбирательства перенесли на одиннадцать. Возле Нади села женщина с грудным ребенком.

Надя смотрела на спящего мальчика в синей вязаной шапочке и вспоминала, как они тогда жили в деревне. Это было шесть лет назад, когда Дунечке исполнилось полгода. Она часто болела, по ночам просыпалась и кричала — надрывно, на одной ноте. Степанов приезжал поздно, часов до трех сидел за работой на дощатой веранде, дымил, как паровоз, одну сигарету за другой и рисовал на полях синей полотняной бумаги одинаковых бородатых мужчин с капитанскими английскими трубками во рту. Засыпал он поздно, и Надя, чтобы не будить его, ходила с

Дунечкой, прижав ее к себе, до тех пор, пока девочка не успокаивалась. Надя укладывала ее в кроватку, а сама садилась к раскрытому окну и смотрела, как желтая луна процарапывалась сквозь заросли кустарников. В одном и том же месте, точно в одно время начинал заходиться соловей. Он был неистов и нежен. Черные сосны разрезали голубое ночное небо, подсвеченное серебряным светом луны. Иногда, если налетал ветер, было слышно, как под горой шумела река на песчаных перекатах. Во всем этом — в Дуне, которая посапывала в своей плетеной кроватке, в том, как что-то бормотал во сне Степанов, в ночи, которая жила тихой, таинственной жизнью, — во всем этом было счастье, и Надя тихонько смеялась и чувствовала, как у нее от этого счастья холодеет кожа и делается шершавой, как бывает, если замерзнешь зимой.

— У вас муж? — спросила Надю женщина, сидевшая с ребенком.

— Что? — не поняла Надя.

— Говорю — у вас муж?

— У меня развод.

— А... У меня-то муж тут. Судить будут. Пьяный стекла в магазине побил. Так он хороший у нас, а вот если выпьет — так обязательно разобьет чего-

нибудь и куражится. Я ему, дураку, говорила: «Ты лучше меня шугани, и то позора будет меньше».

— Да, — сказала Надя, — конечно.

— А теперь штраф сунут, а мы гардероб хотели. Сейчас хорошие появились... Полированные и с зеркалом, по девяносто семь. Судья-то, говорят, женщина. Это ничего, а если мужик — так тот без жалости. А мой-то — тихий, когда не пьет, ласковый.

К скамейке подошел здоровенный парень в кепке. Кепка на его проволочных курчавых волосах держалась каким-то чудом, и Наде показалось, что она вот-вот упадет.

— Пришел, ирод окаянный, — сказала женщина, — глаза б мои на тебя не смотрели, жирафа кучерявая!

— Ладно... — сказал парень, сморщив лицо, — чего паникуешь...

— Пускай тебя посадят, паразита, пускай!

— Ладно, — повторил парень, — чего шумишь... Что в тюрьме, что с тобой — один ляд.

— У вас спички нет? — спросил Степанова старик в толстых роговых очках.

— Пожалуйста.

— Благодарю вас. Вы по делу или слушать?

— Это как?

— Любопытствуете или у самого неприятности?

— А вы?

— Я, изволите ли видеть, укрепляю институт судебной гласности. Слушаю и реагирую. Судье важно видеть реакцию зала. У нас утеряна прелесть реакции зала на происходящее в судебном заседании.

— На пенсии?

— Да.

— Бывают интересные дела?

— Неинтересных дел нет. Каждое интересно, только если судья сумеет достигнуть подлеца, вывернуть его, вывернуть.

Степанов достал блокнот и записал: «Важно суметь вывернуть подлеца».

— Не из «вечерки», случаем?

— Нет.

— Скучны у нас судебные отчеты, как морковный пюрей.

Степанов снова вытащил книжечку и записал: «Старая сволочь, говорит не “пюре”, а “пюрей”».

— А по прежней профессии вы кто? — спросил Степанов.

— Повар.

— Повар?

— Да, изволите ли видеть. Повар, с вашего позволения. Кормил прежних, а после ублажал вегетарианцев нарпита. Так вы с неприятностями?

— Папаша, — сказал Степанов, — вам бы лучше на печке со старухой сидеть...

Повар поднял пегие, торчащие вперед брови и тоскливо ответил:

— Старуха-то померла. Вот и грущу. А молодую брать — опасно, жилплощадь высудит.

Степанову стало мучительно стыдно: и за то, что он так грубо сказал старику, и за то, что в своей книжечке написал «старая сволочь».

«Скорее-то сволочь — я, — отметил он про себя, — и не старая. А это значительно хуже».

III

В институте было полно студентов. На первом этаже метались «режиссеры» — сегодня они сдавали мастеру этюды. На втором этаже в комнате номер 13 сидел Немировский — преподаватель по классу фехтования и сценического боя. По коридору, мимо комнаты 13, ходили актеры второго курса и зубрили диамат.

— Сиди здесь, — сказал Никита Дунечке, — вот на этом стуле, и никуда не уходи.

— Нет, — ответила Дунечка, — мне страшно одной. Они вон какие волосатые.

— Это студенты. Перед экзаменами не стригутся, поняла? Сиди тут и не рыпайся.

Никита пошел к двери. Дунечка, побледнев от волнения, пошла за ним следом.

— Дуня, — сказал Никита, — я что сказал?

— Я тогда с тобой играть никогда не буду, — сказала Дунечка дрожащим голосом. Она так всех пугала дома. Если ее наказывал отец или зазря ругала мать, она начинала дышать носом, раздувала свои круглые ноздряшки и говорила: «Ну ладно, я тебе больше никогда ничего не нарисую».

Зачем вы стареете, люди? Зачем вы делаетесь разумными, взрослыми? Зачем вы не пугаете друг друга тем, что «больше никогда ничего не нарисуете»?

Никита вошел в тринадцатую комнату и сказал:

— Здравствуйте, Аркадий Борисович.

Напротив Немировского, высокого, тонкого, чертовски элегантного и седого, стоял напарник Никиты Коля Курчаев.

— Здравствуй, друг мой. Ну, готов? — спросил он блестяще поставленным голосом. — Что будем показывать?

— С-сцену драки, — сказал Коля. Он всегда заикался перед тем, как начинал «работать» этюд.

— Я понимаю, что не объяснение в любви; нежность не по моей части.

Немировский уже тридцать лет ставил драки и фехтовальные бои во всех московских театрах.

Никита повесил на спинку стула куртку и отошел к стене, туда, где был разостлан серый продырявившийся мат. На нем дрались двадцать поколений артистов. На этом мате дрались все — заслуженные и народные, лауреаты, «звезды» и те, которые так и состарились на роли «кушать подано».

— Давай, — шепнул Никита.

Коля кивнул и сделал шаг к Никите. В это время открылась дверь, и в комнату вошла Дунечка.

— Никита, — сказала она драматическим шепотом, — поди-ка.

— В чем дело? — спросил Немировский. Он обернулся, увидел Дунечку и спросил: — А это кто к нам пришел?

— Это племянница, — сказал Никита. — Что тебе, Дуня?

— Пи-пи хочется, — прошептала Дунечка.

— Привет! А ка-ка нет?

— Пока нет.

— Что хочет младенец? — спросил Немировский. — Что вы шепчетесь?

— Потерпи, — сказал Никита шепотом, — видишь, я занят.

— Мама мне не велит терпеть.

— Аркадий Борисович, на минуту, — сказал Никита, — возникла проблема «пи-пи».

Они вышли из тринадцатой комнаты, и Никита повел Дунечку в уборную.

— Зачем ты сказал им про «пи-пи»? — обиженно спросила Дунечка. — Как только не стыдно. Я ведь шепотом тебе сказала...

— Поворчи мне, поворчи. Да, а в какую тебя

вести? Привет! Не в дамскую же.

— А в какую же еще? Я ведь девочка.

— А я мальчик.

— Ну и что? Ты ведь со мной идешь.

— Быть тебе Гегелем, — сказал Никита.

Он подошел к мужской уборной и, открыв дверь, крикнул:

— Есть тут кто?

— Конечно, — ответили ему.

— На выход! И постой у двери, я с племянницей иду.

— С кем?

Из уборной выскочил актер с четвертого курса, Романов.

— И чья это маленькая девочка, крошечка девочка?! — засюсюкал он.

— Не ваша, — ответила Дуня и пошла в открытую дверь первой.

— Ну, — спросил Немировский Никиту, — проблема изжила себя?

— Да, извините.

— Н-начали, — заикнулся Коля Курчаев.

Никита бросился на Колю. Коля увернулся, чуть коснувшись Никиты бедром, ухватил его за кисть левой руки и перебросил через себя. Никита упал. Коля бросился на него, но Никита выставил ноги,

и Коля полетел через Никиту. Мгновение они лежали неподвижно.

— Ритм, ритм! — крикнул Немировский. — Долго! Тянете!

Никита бросился на поднимавшегося Колю и обхватил его за шею.

— Стоп! — крикнул Немировский. — Драка! Пьяная драка! Снова!

Дунечка вошла в комнату незамеченной и замерла у двери.

Никита выбросил вперед правую руку; Коля поймал ее и снова швырнул Никиту через себя. Дунечка сорвалась с места и стала молотить Колю кулачками.

— Противный, противный! — закричала она.

Немировский сказал:

— Девочка, дяди шутят.

— Мы так играем, Дуня, — сказал Никита.

— Р-ребенок все испортил, — заикнулся Коля, — сейчас вышло бы хорошо, я ч-чувствовал.

— Дуня, — сказал Никита, — Аркадий Борисович влепит нам по двойке, и мы останемся без стипендии, поняла? Можешь ты посидеть одна спокойно или нет?

— Нет, — ответила Дуня, — там ко мне пристают хулиганы.

— А где родители? — спросил Немировский.

— Выясняют отношения.

— Пойдем, — сказала Дунечка и потянула Никиту за палец.

— Ладно, — сказал Немировский. — Кто там следующие, пусть войдут.

Он поставил Никите зачет и подмигнул Дунечке.

— А вы разными глазами умеете? — спросила Дуня. — Сначала одним, потом другим? Я умею.

— Ну-ка.

Дуня заморгала глазами:

— Вот так. Понимаете?

— Понимаю.

— Это меня мама научила.

— А не рано?

— Что?

— Моргать научила не рано?

— Ну что вы... — улыбнулась Дунечка, — надо всему учиться, пока маленькая. Так моя бабушка говорит.

Немировский захохотал, откинув седую красивую голову.

— У вас занятная племянница, — сказал он, — идите развлекайтесь, Никита.

IV

— Против состава суда возражений нет? — спросила женщина в черном костюме с серебряным ромбом на лацкане.

— Нет, — ответил Степанов.

— А у вас? Гражданка Степанова, у вас нет возражений против состава суда?

— Ну что вы...

— Дело возбуждает Степанова?

— Да.

— Изложите причины.

— А можно без причин? — спросила Надя. — Просто можно развестить? Причины касаются только нас двоих.

— Развод разрешаем мы, гражданка Степанова. Или не разрешаем. Ясно? Давайте по существу вопроса.

В зале никого не было. Только судья, два заседателя и секретарь восемнадцатилетняя девушка в красных чулках, с ярко подведенными глазами. Она внимательно — снизу вверх — рассматривала Надю. Потом, почистив кончиком деревянной ручки длинные ногти, стала так же внимательно, но в то же время безразлично разглядывать

Степанова. Сзади скрипнула дверь. Степанов обернулся и увидел того старика повара. Повар сел на первую скамью и, положив ногу на ногу, молча раскланялся с составом суда.

— Подать на развод, — допытывалась судья, — вас побудила его связь с другой женщиной?

Надя молчала.

— Отвечайте суду, — сказала председательствующая. — Что же вы молчите?

— Мне кажется, что все это очень личное, — тихо ответила Надя и обернулась к Степанову, словно ища у него помощи; так бывало всегда — если ей становилось плохо и не он был в этом виноват, она смотрела на него, ожидая помощи. Но Степанов молчал и рассматривал паркет, выкрашенный в красный цвет. Почувствовав на себе ее взгляд, он поднял голову, долго глядел на нее, а потом усмехнулся.

V

Никита сказал:

— Дуня, сейчас я пойду на халтуру, поняла?

— Поняла.

— И не вздумай мне мешать.

— А что такое «халтура»?

— Это великая союзница актера в решении денежной проблемы. Ясно?

В бюро пропусков Дома звукозаписи долго не хотели записывать Дуню в пропуск, заказанный для Никиты. Никита был занят в радиоспектакле для детей. Он играл Кота.

— Если ты будешь сидеть тихо, — сказал он, — я тебе устрою сюрприз.

— На какую букву?

— На букву «и».

— Ириска? — быстро спросила Дунечка.

— Угадала.

Они вошли в лифт и поехали на пятый этаж.

Режиссер, большая женщина в туго обтягивавшем ее платье, сказала:

— Вы заставляете себя ждать, Никита.

— Больше не буду, — ответил Никита, улыбаясь своей улыбкой номер один. — А где Лиса?

— Лиса беременна — у нее прием к врачу, — ответила режиссер.

— А что такое «Лиса беременна»? — спросила Дуня.

— Боже мой, кто это, Никита? — спросила режиссер.

— Племянница.

— Какая прелесть! Дивные глаза.

— «Дивно пахнет резеда», — пропел Никита дурным голосом слова из песенки. — «Дивные глаза», — повторил он. — Слышишь, племянница?

— А как тебя зовут, душечка маленькая?

— Дуня.

— Как? Муня?

— Дуня.

— Какое дивное имя! А сколько тебе годиков, кисонька?

— Мне шесть лет. И восемь с половиной месяцев.

— Сейчас мы возьмем с собой Дуню и она будет смотреть, как мы работаем.

— Поблагодари тетю, — сказал Никита.

— Спасибо.

— Какая дивная девчушка, обожаю детей. Дуня, а ты любишь слушать радио?

— Люблю.

— И детские передачи любишь? — допытывалась режиссер, пока они шли по коридорам к студии, где должна была проходить запись сказки на пленку.

— Очень.

— А братик у тебя есть?

— Они все обещали, обещали... Нет у меня братика. Только двоюродный.

— Ты с ним дружишь?

— Дружу, но он сумасшедший.

Режиссер зашлась смехом.

— Почему сумасшедший? — спросила она.

— А потому что он спит на корточках.

— Боже, какой ребенок! — сказала режиссер. — Она прелестна.

— А далеко еще до халтуры? — спросила Дунечка Никиту.

— Что? — не поняла режиссер. — Что ты спросила, маленькая душенька?

Никита сжал руку племянницы, и Дуня вскрикнула:

— Больно!

— А вон там за дверью живет лев, — сказал Никита, — он поедает болтушек, поняла?

— А дверь заперта?

— Пока заперта, но если будешь болтать, открою.

— А меня он съест?

— А что — чикаться, что ли, с тобой? Ам — и с приветом!

— А я у него живот саблей разрежу и убегу.

— А у тебя сабли нет.

— А я куплю.

— А у тебя денег нет.

— А я сначала куплю деньги, а потом на них куплю саблю.

— А где ты купишь деньги? — заинтересовался Никита.

— Как где? — удивилась Дунечка. — У папы.

— Сейчас мы вас догоним, — сказал Никита режиссеру, — у Дунечки ботинок расшнуровался.

— Что ты, Никиток, — сказала Дунечка, — совсем даже не расшнуровался.

— Это ты не чувствуешь. Ну-ка, стой.

Режиссер медленно пошла вперед, а Никита, опустившись перед Дунечкой на колени, прошипел:

— Молчи о халтуре, поняла?!

— Почему?

— По кочану. Много будешь знать — рано состаришься.

— А почему говорят «по кочану», а не «по кочерыжке»?

— Евдокия, хватит! Поняла? У меня голова стала распухать. Пошли.

Никита сделал вид, что завязал Дуне новый узел на ботинке, и они побежали следом за режиссером.

VI

— У вас были связи? — судья обратилась к Степанову.

— Какие?

— Интимные.

— Что вы понимаете под словом «интимные»?

— Вы не ребенок. Отвечайте, пожалуйста, по существу.

Если художник сразу добьется успеха, то он до конца жизни своей остается ребенком — во всех проявлениях, и его будет принимать именно таким та женщина, которая его полюбит. Настоящий художник останется и в зрелости одержим чувствами неистовыми и моментальными.

Если же путь к большому признанию был труден и сложен, тогда женщина, которая прошла с художником этот путь, привыкает к тому, что он делается постепенно многоопытным и мудрым, и не хочет ничего прощать, и перестает видеть в нем ребенка. И тогда, в какой-то напряженный миг неудачных поисков отчаянье захлестывает его, ищет себе выхода — яростного, бессмысленного и неразборчивого...

— Нет, — ответил Степанов после долгой паузы, — интимных связей у меня не было.

— Почему вы делаете такое многозначительное ударение на слове «интимные»?

— Потому что я отвечаю на ваш вопрос по существу.

— Ну, хорошо, а просто связи у вас были?

— Это ведь к нашему вопросу отношения не имеет, насколько я мог понять из заявления, написанного моей женой. Это касается нас с женой, а вернее, это касается одного только меня.

— Почему вы так думаете? Разрушая семью, вы наносите вред не только вам и вашим близким, но и обществу.

— Что-то у Энгельса этого не было, — хмыкнул Степанов.

— Вы что, шутки сюда пришли шутить? — спросила судья.

VII

— Кот, Кот! — крикнула режиссер в микрофон. — Больше экспрессии, не бойтесь мяукнуть так, чтобы детям стало страшно. Вы хищник, вы злодей. Ну-ка, снова.

— Мяу! — заорал Никита. — Мя-а-ау!

— Вот теперь хорошо! — обрадовалась режиссер.

— Так коты не кричат, — сказала Дунечка громким шепотом. — Так никто не кричит вообще.

Она сидела на стуле в углу комнаты, возле окна, и смотрела, как актеры репетировали сказку.

— Тихо! — сказала режиссер. — Тише, девочка, ты мешаешь тётям и дядям. Снова!

— Мяу! Мя-а-ау! — снова заорал Никита. — Ряба, сейчас я потаскаю всех твоих цыплят!

— Цыпляточек! — крикнула режиссер. — Не цыплят, а цыпляточек! Мы пишем на детей!

— Мы сюсюкаем на детей! — буркнул Никита под нос.

— Продолжаем!

— Мя-у! Я съем твоих цыпляточек! — проревел Никита.

— Кот! — выкрикнула пожилая актриса, иг-

равшая роль Воробья. — Все птицы просят тебя только об одном...

— Стоп! — сказала режиссер. — Шумы! Приготовьте ветер! Нужно ощущение тревоги.

Включили рев ветра. Это был страшный, пронзительный ветер — зимний, записанный где-то в лесу, потому что было слышно, как скрежетали стволы деревьев.

— Дальше! Кот!

— Я не хочу слышать ваших просьб! — взревел Никита.

— Не верю! Не чувствую! Мало злобы! — крикнула режиссер и от волнения топнула каблуком.

— А я больше радио слушать не буду, — сказала Дунечка тихо.

— Что? Что? — спросила режиссер и, не дожидаясь ответа, крикнула: Никита, я подыграю вам за Лису. «Котик, а скажи-ка мне, где удобней пролезть в сарай!» Ну, Кот, отвечайте.

— Молчи, Никита, — сказала Дунечка, — такие лисы не бывают. Уродина какая-то.

Режиссер засмеялась деревянным смехом и сказала:

— Непосредственность этого экспоната обворожительна.

— Это не экспонат, — сказал Никита, — давайте

мяукать дальше.

— Почему такая нервозность?

— Потому что мы делаем все не так.

— Вы так считаете?

— Иначе бы не говорил.

— Садитесь на мое место и ставьте спектакль.

— Радиоспектакль, — поправил Никита. — Мы мяукаем как крокодилы и лаем как львы. У нас все получается плохо, понимаете? Вон на нее посмотрите. Она должна сидеть с раскрытым ртом, а она смотрит в окно, когда мы мяукаем. Вы так же мяукали, когда мне было три года, это скучно, а искусство не может быть скучным.

— Эту дискуссию мы продолжим после репетиции. Прошу вступать цыпленка.

Старый лысый актер в парусиновой куртке крикнул:

— Мамочка, мне страшно!

Голос у него был тоненький, писклявый, и Дунечка засмеялась. И Никита, не выдержав, тоже засмеялся. Старый лысый актер вздохнул, достал из потертого дерматинового портфеля леденец и дал его Дунечке. Никита смутился и сказал:

— Василий Васильевич, простите...

— Э, — махнул рукой старый лысый актер, — э, чего там.

— Девочка, — сказала режиссер, — пожалуйста, сиди тихо и не мешай дядям и тётям.

— А тут только один дядя, Никита. Больше нет.

— Весь диалог с цыпленком, пожалуйста.

— Мамочка, мне страшно, — снова пропищал лысый актер тонким голосом и обернулся к Никите.

Никита колыхался на стуле от сдерживаемого смеха.

— Мяу, — прохрипел он, — ты почему ушел из дому, а?

— Я — Лиса! «Цып-цып-цып, — проиграла режиссер, — цыпленок, иди сюда».

— Не ходи, не ходи, — крикнула Дунечка, — это не лиса совсем даже.

Режиссер поднялась со стула и сказала:

— Товарищ Андреев, успокойте ребенка и объясните ему, как себя надо вести.

Никита вывел Дунечку из комнаты и сказал:

— Ты понимаешь, что такое десять рублей?

— Нет. Кукла сколько стоит?

— Кукла? Не знаю, сколько стоит кукла. А рубашка стоит семь рублей и пол-литра — три. Сиди и молчи, даже если смешно.

— А ты почему смеешься?

— Почему? По кочерыжке, вот почему.

Дунечку очень рассмешило это Никитино «по кочерыжке». Она долго смеялась, а потом вдруг грустно сказала:

— Никит, а мне потанцевать захотелось.

VIII

В первый раз у них случилась ссора уже после рождения Дунечки. Это была настоящая, обидная для обоих ссора. Он только что прилетел из командировки: он ходил с двумя геологами в маршрут по Сибири. Маршрут был трудный, через тайгу, по нехоженым местам. Они потеряли тропу и вместо недели проплутали полмесяца. Их чудом нашли охотники — они уже начали доходить без еды и огня. Отлежав пять дней в госпитале, он прилетел в Москву, но дома обо всем этом говорить не стал — зачем пугать? Вся его жизнь состояла из таких или почти таких командировок, а это безжалостно считал он, — если дома будут знать, как и где ему приходится мотаться. Поэтому он со своими товарищами по маршруту встретился на холостяцкой квартире — отметить возвращение домой. Она приревновала его, потому что вернулся он под утро; он был с друзьями и пил за нее там и говорил о ней мужчинам нежные, бессвязные слова; нет ничего обидней в любви, чем беспричинная ревность. Как правило, первую измену рождает беспричинная ревность. От женщины в семье зависит все — спокойствие, счастье, уве-

ренность. Уже после Степанов пытался думать об этой первой вспышке яростной, слепой, беспричинной ревности — обидной и жестокой, неуважительной к нему. Он подумал тогда, что это, возможно, приходит с рождением ребенка, когда женщина — скорее даже инстинктивно — стремится оберегать от всего постороннего ту семью, которая создалась. Но увы, чем отчаянней женщина защищает семью, тем стремительней она разрушается. Любовь принимает все: боль и голод, бесстыдство и одержимость. Она не принимает только одно — тиранию.

— Вы понимаете, — спросила судья Надю, — что, получив развод, вы поставите в трудное положение вашего ребенка? Отец только в том случае продолжает оставаться настоящим отцом, если он живет с ребенком под одной крышей. Вы отдаете себе в этом отчет?

Повар на первой скамейке многозначительно кашлянул и переложил ногу на ногу. Из-под брюк вылезли сиреневые кальсоны.

«Старики даже в летнюю жару носят кальсоны. Старость — это холод», — подумал Степанов.

Секретарь суда обмакнула перо в ученическую чернильницу, ожидая Надиного ответа.

«А может быть, такая отчаянная ревность идет

от прекрасной поры молодости? Может быть, я еще не смог этого понять? — продолжал думать Степанов. — Может, я зря обижался? Может быть, женщина ревностью пытается возвратить те первые месяцы, когда ей говорят только о любви, о своей любви к ней. Или высшее проявление любви — это когда человека понимают, каков он есть? Любовь — это всепрощение? Или нет?»

— Какой-то странный развод: ни тот, ни другой не говорят причин, побудивших их предпринять этот серьезный шаг, — сказала судья народному заседателю, сидевшему слева от нее.

Здесь привыкли к тому, чтобы на бракоразводных процессах обвиняли друг друга, плакали, говорили грубости. Тогда, среди этой откровенной душевной расхлыстанности, три человека, сидящие в дубовых креслах, пытались найти правого и виноватого, тогда им легче было принимать решение. А сейчас, когда приходилось клещами тянуть слова то из Степанова, то из Нади, они раздражались, считая поведение супругов несерьезным и даже — неуважительным по отношению к составу суда.

У председательствующей недавно разводился сын. Он узнал про какую-то связь жены. Была она или не была — точно выяснить ему не удалось,

но полгода в доме судьи жили, как в погребе. Она считала развод поступком аморальным и пыталась доказать это сыну, но он сказал ей:

— Мама, это тебе развод кажется аморальным, потому что ты живешь нравами уходящей эпохи.

— О какой эпохе ты говоришь? — спросила судья. — Я не совсем тебя понимаю.

Она, конечно, понимала его, понимала так, как ей казалось единственно возможным понимать его, двадцатитрехлетнего, танцующего твист и любящего на земле только одно — квантовую механику и ее философское обоснование.

— Нет, мама, — сказал он и обнял ее, — ты не так меня поняла. Я не ту эпоху и не те нравы имею в виду. Стендаль в одном из писем сестре говорил, что на земле нравы меняются через каждые пятьдесят лет. Понимаешь? Так было всегда, я не хочу обидеть твою эпоху. Тем более что в ней еще надо очень серьезно разбираться, прежде чем мы сможем вывести единственно правильное отношение к ней.

— Ты ужасно зарос и выглядишь неопрятно.

— Это сейчас модно.

— Когда ты пошел на мехмат, я так гордилась тобой, я думала, что тебя, математика, не будет

касаться вся эта сегодняшняя грязь с дудочками, буги-вуги и прочей пошлостью.[1]

— Нравы меняются, мама. Буги-вуги стали пошлостью, потому что устарели. Танец современных интеллектуалов, которым надо размяться после работы, — твист. Ты не смейся, мама, не смейся. Математика древних вызывает у меня умиление, но в ней масса сентиментальной пошлятины. С этим ничего не поделаешь, как говорится: се ля ви...[2]

«О смерти, которая грядет, и о времени, которое быстролетно, думают великие философы или писатели с искрой божьей. Остальные, принимая решения или отдавая приказы, считают, что смерть далеко, а время прекрасно. Стареющий человек видит себя своим внутренним зрением и

---

[1] Примечания: 1

Дудочки — узкие, облегающие брюки, сужающиеся к щиколоткам, обычно укороченной длины.

Были в моде у молодых людей принадлежащих к яркой субкультуре СССР конца 1940-х — начала 1960-х годов XX в. — *стиляги*, которая отвергала советские стереотипы в пользу западной моды, джаза, рок-н-ролла, яркой одежды и свободомыслия, несмотря на осуждение властей и общества.

Буги-вуги — танец, появившийся в Европе во второй половине 1940-х гг. Является одним из самых веселых и беззаботных танцев. Относится к свинговым танцам, исполняется под рок-н-ролл и рокабилли.

Был т. н. «запретным плодом» для советской молодежи.

[2] Примечания: 2

Се ля ви (*франц.* C'est la vie) — такова жизнь.

сам себе кажется милым, добрым и очень многоопытным. Его трагедия заключается в том, что он себя видит в пору своего расцвета. Поэтому он считает себя вправе, более того, он считает себя обязанным давать советы и быть арбитром во всех возникающих спорах. Одна беда: такой стареющий человек не отдает себе отчета в том, что решение, которое в подобной ситуации он принимал тридцать лет назад, в пору своей молодости, не может быть автоматически принято сейчас, потому что всех нас несет вперед время, которое следует осмысливать каждый день заново», — успел записать Степанов в своей книжечке и засунул ее подальше в карман, чтобы не было искушения достать ее еще раз...

Вспоминая сына и его жену, стараясь разобраться в том, где же правда, судья поэтому с особенной тщательностью относилась к бракоразводным процессам, и на те вопросы, на которые сын не отвечал ей, а смеялся или дерзил, она хотела получить ответы сейчас, здесь, в этом зале, где никто не имеет права засмеяться или дерзко ответить.

— Таким образом, я не получила обстоятельного ответа, понимают ли супруги до конца то, в каком положении окажется их семилетняя

дочь. Девочка придет в школу, и ее спросят: «А где твой папа?» Что она ответит на этот вопрос? Вы подумали о душе ребенка?

— Послушайте, — сказала Надя, — ну послушайте же: не надо так говорить, это ведь безжалостно так говорить мне.

— Я говорю это не только вам, я также говорю это и супругу...

— Гражданин судья, — сказал Степанов, — а не кажется ли вам, что бестактно говорить об этом людям, которые ребенка родили, вынянчили и вырастили? Как бы вы отнеслись к тому, если бы я стал поучать вас и корректировать ваши отношения с детьми?!

— Не забывайтесь! Вы находитесь в суде!

— Я помню об этом и не забываюсь. Если уж надо приходить в суд, чтобы расторгать любовь, то не следует все же быть жестокой, ей-богу...

IX

Никита шел с Дунечкой по Садовому кольцу. Он вдрызг разругался с радиорежиссером и ушел с репетиции. В кармане у него были только те деньги, которые он одолжил у Степанова. А вечером он договорился увидеться с Аней и вместе пойти куда-нибудь посидеть.

— Давай позвоним — может, пришли твои родители, — сказал Никита, — а то ты мне уж порядком поднадоела.

— А ты мне совеем не надоел.

Они зашли в автомат, и Никита набрал номер. Он долго прислушивался к длинным безразличным гудкам, а потом повесил трубку, легонько стукнул по зеленому ящику телефона и получил назад две копейки.

— Копейка, — сказал он поучительно, — рубль бережет.

— Как часовой?

— Да.

— А у копейки есть ружье?

— Бомба. Теперь едем на Разгуляй.

Дуня долго смеялась, повторяя: «Разгуляй, разгуляй, сиди дома, не гуляй!»

— Вот дуреха, — сказал Никита. — Разгуляй — это улица, понимаешь? А на этой улице — институт. А в институте — Гранатиков.

— Вовка?

— Да.

— Который танцует?

— Да.

— А зачем ему учиться, если он умеет танцевать?

— Жизнь диктует свои жестокие законы. Едем.

Гранатиков завалил два экзамена, и его сняли со стипендии.

Гранатикова надо было выручать. Выручать его взялся, как всегда, Никита. В два часа Никиту должен был ждать на Разгуляе Гранатиков, набитый шпаргалками, и Леха — с тремя фотоаппаратами.

Дуня с Никитой опоздали на четверть часа. Гранатиков ходил возле института с пылающими ушами и растерянным лицом.

— Ну, — сказал Никита, — что грустишь, стро-

итель? И засуху победим,[3] только спокойней. Леха, побудь с Дунькой.

— Здоро́во, — сказал Леха Дунечке, — как дела, старуха?

— Хорошо, — ответила Дунечка, смутившись. Она была уже давно влюблена в Леху. Среди Никитиных друзей он казался ей самым красивым.

Никита сказал:

— Дуня, от Лехи ни на шаг — поняла?

— Поняла.

— Леха, смотри за ней.

— Давай, давай, — лениво сказал Леха, зевнув, — топайте, там профессор икру мечет.

Когда Никита и Гранатиков ушли, Леха спросил:

— Мороженого небось хочешь, старуха?

Дунечка сделала Лехе глазки и неопределенно засмеялась.

Гранатиков сидел за последним столом. Уши

---

[3] Примечания: 3

И засуху победим — слоган с советского плаката. Художник — Виктор Иванович Говорков (1906–1974).

В конце 40-х годов в Советской стране появились плакаты, на которых Иосиф Виссарионович Сталин был изображен сидящим у стола, на котором лежала карта европейской территории Союза. Еще недавно в стихах и на картинах нередко описывали как Сталин разглядывает линии советско-германского фронта. Теперь же он внимательно разглядывал карту лесозащитных полос. На плакате была надпись: *«И засуху победим!»*.

у него были синего цвета. Глаза округлились, а губы сделались белыми. Профессор расхаживал по аудитории злой как черт. Ему надоели эти пересдачи, они отрывали его от работы над учебником. Поэтому он, как правило, ставил всем тройки.

Отворилась дверь, и в аудиторию вошел Никита, увешанный фотоаппаратами.

— Что вам? — спросил профессор. — В каком вы виде? Вам здесь не парк культуры.

— Я из газеты, — сказал Никита, — семь тысяч извинений.

И он показал издали красную книжку, в которой значилось, что Леха является лаборантом в фотоцехе редакции.

Профессор кашлянул и пошел навстречу Никите.

— Здравствуйте, — сказал он, — простите, я не сразу понял. У нас такие горячие дни.

— Я делаю репортаж о студенческих экзаменах, — сказал Никита, лихо прилаживая объектив, с которым он не умел обращаться. — Посоветовали познакомиться с вашим курсом, говорят, хорошие ребята.

— Да, есть способные люди.

— Пожалуйста, сядьте к столу, — попросил Ни-

кита, — хорошо бы вам в руки логарифмическую линеечку. Ну, ничего. Возьмите перо. Хорошо. Только повернитесь, пожалуйста, к окну — там больше света. Левее. Нет, правей! Голову выше.

Профессор повернулся к окну. Никита искоса поглядел на Гранатикова. Тот кивнул и положил перед собой шпаргалку.

Никита сделал несколько снимков на пустую кассету.

— Четко, — сказал он. — Теперь позвольте мне сделать несколько снимков студентов.

— Да, да, прошу, — сказал профессор, подумав: «Забелин с кафедры сопромата[4] взъярится, увидев меня в газете. Он болезненно честолюбив. А у меня, по-моему, воротничок мятый».

Профессор потрогал свой воротничок, поправил галстук и сказал ласковым голосом:

— Ну, друзья мои, кто решится на подвиг первым?

Студенты молчали.

Никита попросил профессора:

— Позвольте поработать во-он над тем типажем. Он фотогеничен и производит впечатление думающего человека.

---

[4] Примечания: 4

Сопрома́т (разговор., спец.) — сокращение: **С**опротивление **М**атериалов (название науки, учебной дисциплины).

— Гранатиков? — ужаснулся профессор.

— Я не знаю, — ответил Никита. — Гранатиков или Пулеметиков. Вон тот, с ушами.

— Ну... Пожалуйста... Если он кажется вам фотогеничным.

— Идите к доске, — сказал Никита Гранатикову.

— Я еще не совсем...

— Идите, идите, — сказал Никита. — Быстренько!

Гранатиков подошел к доске и начал отвечать сдавленным голосом. Никита попросил профессора стать рядом со студентом и защелкал камерой.

— Так... Хорошо. Теперь ставьте ему оценку, — сказал Никита, — а то я не успею в номер газеты. За стол садитесь, за стол.

— Да, но он еще не ответил...

— Потом доспросите, — сказал Никита, — потом...

Профессор поставил Гранатикову «хорошо», Никита достал блокнот и записал фамилию профессора и Гранатикова.

— Значит, пойдет подтекстовочка: «Студент третьего курса Гранатиков сдал на “хорошо” экзамен профессору Пинчуку. Фото Бальтерманца».

— Вы тот самый Бальтерманц? — удивился профессор. — Я помню довоенные фотографии Бальтерманца. Вы... э... э...

Никита на мгновенье похолодел, потому что фамилию Бальтерманца выпалил экспромтом, не продумав заранее.

— Нет, — сказал он, — я не тот Бальтерманц, собственно, я тот Бальтерманц, но только сын. Ну, всего хорошего, простите, что помешал.

Гранатиков тоже поднялся, схватил свою зачетку и, что-то пробормотав, выскочил из аудитории первым.

— Какой-то странный, — сказал Никита. — Что с ним?

Профессор проводил Никиту до двери и улыбнулся:

— Вы невольно помогли этому лоботрясу, но пусть это будет нашим секретом. Фотогеничность в вашем деле прежде всего. Когда выйдет номер?

— Завтра, — сказал Никита, — покупайте в киоске.

X

Судья продолжала допрашивать Надю, а Степанов видел то утро в Каирском аэропорту, и красный песчаный буран, когда ветер срывал серебристые дюралевые жалюзи с окон, и прижатые к земле пальмы с растрепанными, жалкими иглами — будто простоволосые бабы в своем неутешном бабьем горе.

Степанов шел через буран к самолету — это был первый, пробный рейс, и ветер рвал его пиджак, песок застревал в волосах, скрипел во рту. В самолете было пусто, это был пробный рейс без промежуточной посадки в Тиране, поэтому Степанов сел в первый салон. Там никого не было. Когда заревели турбины ИЛа, из кабины пилотов вышел бортинженер-наставник и сел на самое первое кресло, перед Степановым. Самолет стал разбегаться по взлетной полосе. Он очень долго разбегался, все в салоне стало подзенькивать мелко-мелко. Он разбегался, но никак не мог оторваться от земли, а вокруг был красный песчаный туман. Степанов заметил, как на виске сидевшего впереди него наставника из пор кожи, как в кино, стали появляться капли пота. Сначала

мелкие, потом они сливались одна с другой и медленно катились по виску. Пилоты прибавили обороты, рев двигателей сделался невозможным, душераздирающим. Наставник взялся пальцами за ручку сиденья, и Степанов заметил, как он выставил вперед ногу и стал упираться ею в стену пилотской кабины, а сам подался назад, словно желая вдавиться в кресло. Степанов вспомнил шведского летчика. Неделю назад он летел с ним в Багдад. Швед рассказывал, как была записана на пленку катастрофа на «боинге». Связь с гибнущим самолетом поддерживали до последней секунды, до тугого взрыва и темной тишины потом. Пока самолет падал, летчики передавали, что происходит с крыльями, фюзеляжем, и было слышно, как иногда, если самолет переворачивало в воздухе и распахивались двери в салон, — было слышно, как истошно кричали люди — дети, женщины, мужчины. Самолет падал с высоты девяти километров пять минут. И все эти пять минут смогли записать на пленку, это был верх удачи; потом эксперты проигрывали эту пленку по нескольку десятков раз, словно любители джаза, стараясь понять причину катастрофы.

Степанов ничего не видел тогда. Он тоже вцепился холодными пальцами в ручку кресла, и по

его лицу так же текли капли холодного пота. А после, как в кино, понеслись, запрыгали перед глазами кадры: Надя и Дунечка, Дунечка и Надя, Надя, Дунечка, Дунечка, Надя...

Надя как-то говорила ему:

— Самое страшное, если мужчина продолжает жить с нелюбимой женщиной из чувства долга. Это оскорбительно для обоих, а дети все равно будут рождаться плохими, а потом станут несчастными.

Только много дней спустя, уже прилетев в Москву, уже после того, как он успел в суматохе дел забыть тот миг, когда моторы замолчали (или он оглох), и самолет стал уходить в небо, и летел над островом Крит — куском коричневой скалистой земли в сиреневом море, — уже после всего этого Степанов вспомнил, что ему «показывали» в те доли секунды.

«Все ерунда, — сказал он себе, неожиданно вспомнив эти Надины слова. — Долг и любовь неотделимы. Не может быть долга без любви, как и любви без долга».

Но он тогда не сказал этого Наде. Он пробовал писать. Но тогда не получилось. Видимо, еще не наболело. Получается, если только наболело. Иначе: грамматические упражнения

и описательство. Оно никому не нужно, это описательство. Кого сейчас волнует описание серебристого елового леса в заснеженном Подмосковье? Сейчас волнует не описание поступка, но его анализ. Как сказано у Межирова: «Пробуждение совести — тема для романа».

А судья все продолжала допрашивать Надю про то, как Степанов обеспечивал семью, не пил ли и как у него а роду с наследственностью...

XI

— Хочешь, пойдем в зоопарк? — сказал Никита.

Дунечка запрыгала на одной ножке. Глаза ее засветились и стали, как у Нади, круглыми.

— А потом? — спросила Дунечка.

— А потом суп с котом.

— С тобой?

— Почему со мной?

— Ты же кот. Цып-цып, — передразнила Дунечка лысого актера, мамочка, меня котик хочет съесть.

— Дуньк, ты Аню помнишь?

— Такая волосатая?

— Сама ты волосатая.

— Помню. Она со мной играла в дочки-матери.

— Как она тебе?

— Красивая. Я люблю женщин на каблучках.

В зоопарке они пошли сначала в обезьянник. Дунечка долго молча рассматривала громадных самцов орангутангов, а потом спросила, смущенно отвернувшись:

— Никита, а что это у них там, а?

Никита сел на пол. Служитель сказал:

— Гражданин, ведите себя прилично, звери волнуются.

— Никит, ну, правда, — повторила Дунечка.

— Дуня, — сказал Никита, — вот пойдешь в школу и все узнаешь, а теперь пойдем смотреть тигров.

Они долго смотрели тигров, а после Дуня каталась на пони.

— Ну, понравилось? — спросил Никита.

— Очень. А папа с мамой все ругаются. Лучше бы на пони катались.

Никита посмотрел на часы. Было половина четвертого.

— Рубансон-гоглидзе хочешь?

— Хочу кирневич-валуа.

Они пили газированную воду, а вокруг них с визгом носились дети. Потом они присели на скамейку возле девушки, которая читала книгу. Она была какая-то насквозь чистая, в белом платьице и в белых тапочках на упругих, спортивных ногах.

Никита несколько раз взглянул на девушку, а потом, кашлянув, спросил, подмигнув Дуне:

— Простите, мы вам не помешаем?

— Нет, пожалуйста.

— Интересная книга?

— Очень.

— Что-нибудь эпохальное?

— Да. Сказки Даля.

Никита засмеялся, и девушка поглядела на Никиту. Он снова кашлянул и сказал:

— А не пришла ли пора познакомиться? Меня зовут Никита.

— Очень приятно.

— Мне тоже. А вас?

— Меня зовут Наташа.

— Тоскуете?

Наташа закрыла книгу, посмотрела на Никиту и ответила:

— Временами.

— Сейчас тоже?

— Нет. Сейчас я не тоскую, сейчас я гуляю с сыном.

— «Белка», «Белка», я — «Свисток»: вас понял, перехожу на прием, быстро ответил Никита. — А где дитя? Моя дочь может с ним поиграть.

— Саня! — крикнула Наташа. — Маленький!

Подбежал мальчик с длинными льняными волосами и, отдуваясь, стал возле матери, исподлобья разглядывая Дуню.

— Дуня, дай мальчику руку, — сказал Никита.

Дунечка послушно слезла со скамейки, подо-

шла к мальчику и протянула ему руку лодочкой.

— Здравствуй, — сказала она, — меня зовут Дуня.

— Догони, — сказал мальчик, — кто быстрей.

— Погоди, какой ты быстрый, — рассудительно сказала Дуня, — а сколько тебе лет?

Никита и Наташа засмеялись.

— Кстати, вам сколько? — спросил Никита.

— Я старуха. Мне двадцать пять, — ответила Наташа. — А вам?

— Я мальчик. Мне семьдесят семь.

— Саша, — строго сказала Дунечка, — дай мне ручку, и пойдем гулять.

— Только пусть вас не съедят крокодилы, — попросил Никита.

— Я ему горло прокушу, — пообещал Саша, и они пошли по дорожке: Дуня — длинненькая, в полосатых штанишках и маленький пузатый Саша — в белом костюмчике.

— Ну? — сказал Никита и подвинулся к Наташе. — Итак?

— Сейчас вы спросите: не поколотит ли вас муж?

— Это серьезный вопрос, он меня тревожит.

— Что еще вас тревожит?

— Американский империализм и клика Чан

Кай-ши.[5]

— Давайте я все облегчу — у меня нет мужа, так что можете начинать осаду.

— А что у вас глаза сиреневые?

— Потому что крашусь.

— С вами трудно говорить.

— Отчего?

— Вы не интригуете.

— А надо?

— Конечно.

— Это нетрудно. Только надо следить за нашим кинематографом, там даются готовые, идеологически выдержанные рецепты.

— А почему вы со мной так говорите?

— Наверное, потому, что мне приятно говорить с вами.

— Да?

— Да.

— Черт возьми!

— Черта нет. И бога нет, никого нет. Саша! Саня! Дуня!

---

[5] Примечания: 5

Чан Кайши (1887–1975) — китайский военный и политический деятель, возглавивший партию Гоминьдан, провитель Китая (1928–1949), затем президент Китайской Республики (Тайвань, 1950–1975). Лидер националистов, победитель Японии во Второй мировой войне, но проигравший гражданскую войну коммунистам Мао Цзэдуна, после чего бежал со своими сторонниками на Тайвань, где установил жесткий режим, но способствовал экономической модернизации острова.

— Вы запомнили, как зовут мою пл... дочку?

— Пл-дочку? Конечно, я сразу запоминаю имена детей.

XII

— Вы понимаете, что такое брак? — строго спросила судья Степанова.

— Брак — это затянувшаяся беседа. В идеале, конечно.

— Что?!

— Так говорил один парень, который рано умер.

— Брак — это не беседа, а союз любящих сердец, — сказала судья, — и вы его своим поведением разрушили.

Степанов увидел зимнее, тревожное Черное море, пустой белый пароход, который разрушал острым белым носом тугое единение воды, пустой ресторан, в котором официантки возле большого иллюминатора резались в дурака, и заснувшую за стойкой громадную буфетчицу.

Степанов сидел под большим плакатом, приглашавшим на английском языке туристов совершить прогулку по Черному морю. Степанов сидел и пил. Он перестал пьянеть оттого, что был весь в будущем, в той работе, которую начинал. На палубе грузинка ссорилась с молодым мужем

в ярком синем джемпере, надетом под старый ватник. Мужа ждали два товарища — такие же молодые парни, только один в красном свитере под ватником, а другой в одной тенниске. Дул бриз, и было очень холодно. Парни хотели пойти в ресторан, а жена того, в синем джемпере, держала его за руку и что-то говорила — быстро и просительно. Парни пересмеивались, муж грузинки играл желваками, слушая жену. Он слушал ее, презрительно отвернувшись.

— Пойдем, слушай, — сказал тот, что в тенниске, по-русски, — сколько можно, а?

— Видишь, психует, — ответил муж тоже по-русски.

Грузинка стала говорить еще быстрее, но уже не просительно, а зло, со слезами в голосе. Муж стряхнул ее руку и пошел в ресторан. Следом за ним двинулись его друзья.

— Вано! — пронзительно крикнула женщина.

Ее муж только досадливо махнул рукой и распахнул дверь ресторана. Женщина, заплакав, бросилась бежать по палубе.

— Топиться будет, — сказал парень в тенниске. — Сумасшедшая.

Парни сели за столик и заказали себе шампанское. Они очень красиво и достойно выпили

его, и Степанов долго ждал, когда же они начнут пить водку, но они заказали себе еще бутылку шампанского и пили из фужеров маленькими глоточками. Муж грузинки сначала был оживлен, что-то рассказывал своим товарищам, потом приумолк, стал оглядываться по сторонам и вдруг, отбросив стул, быстро вышел из ресторана. Официантки по-прежнему резались в дурака. Буфетчица дремала. В холодном небе летали хищные, жирные, неестественно белые чайки.

— Дура, мучает Вано, — сказал парень в тенниске.

— Это они так любят, — сказал парень в красном свитере.

— Пропади пропадом такая любовь.

— Они всё волнуются.

— Чего волноваться, слушай? Не ворует ведь? Культурно пьет, с друзьями пьет, не с жуликами, а?

Муж вернулся через пять минут, бледный, с подергивающимся ртом, и сказал:

— Нигде нет, пошли искать.

— Куда денется, слушай?

— Пошли, у меня сердце болит.

Парень в тенниске презрительно рассмеялся и сказал:

— Иди, слушай, и ищи, если тебе делать нечего... Мужчина называется.

— Пошли, — сказал парень в красном джемпере, и они ушли вдвоем.

Степанов выпил водки и спросил парня:

— Ругу рахар, генацвале?

— Э, — пожал тот плечами, — плохо поживаем, сам видишь. Все с ума посходили. Вместо радости, слушай, пытку делают.

Степанов засмеялся. Парень в тенниске тоже усмехнулся.

В ресторан вернулся парень в красном свитере, покачал головой и сказал:

— Воркуют под лестницей.

— Добилась своего.

— Ну и пускай.

— Конечно, пускай, что я, против? — сказал парень в тенниске. — Мне от этого ни холодно ни жарко, его только жаль. Какой мужчина, слушай, позволяет на себе лезгинку танцевать?

— У них же дети...

— Что дети, слушай? При чем здесь дети? Что они — линия Мажино[6] дети? Они радость, дети,

---

[6] Примечания: 6

Линия Мажино — масштабная система французских укреплений на границе с Германией, построенная в 1929–1940-х годах для защиты от вторжения.

а не пытка!

К парням подошла официантка, игриво оперлась локтями о край стола так, чтобы была видна ее грудь, и сказала:

— А что кушать будем, мальчики? Может, икорки под водочку?

— Вы извините, — сказал парень в тенниске, — если надо будет кушать, мы вам закажем.

Официантка обиженно передернула плечиками и отошла.

— Одни — психопатки, — тихо сказал парень в тенниске, — другие стервы! Что делать, а?

...В маленьком городке у моря Степанов поселился в доме на горе. Там жили четверо художников. Они все помногу работали, а вечером уходили вниз, в город, и там слушали в шумном ресторанчике краснолицего толстого венгра, который играл на скрипке и хрипло пел в микрофон еврейские и цыганские песни. В зале, прокуренном и увешанном бумажными гирляндами, сидели рыбаки, моряки и девушки с высокими начесами.

Скрипач высматривал себе жертву. Это обычно был моряк в свитере, пришедший сюда прямо с корабля в короткую минуту стоянки, с двумя девушками — как правило, именно с двумя. Он

попеременно танцевал с ними и каждую во время танца уговаривал пойти с ним после того, как закроют ресторан. Но у девушек был свой метод. Они всегда обещали пойти во второй раз, чтобы не обижать подругу, — так и жили каждый вечер своей маленькой хитростью: вкусный ужин, танцы и спокойная ночь после.

Скрипач намечал себе такого рыбака и начинал играть специально для него — шептал в микрофон исковерканные, нежные слова про то, что «моряки подолгу не грустят», хотя именно моряки и грустят подолгу, подмаргивал рыбаку, и тот, опьянев, тоже подмаргивал скрипачу, а потом посылал в подарок бутылку водки и еще посылал денег, чтобы скрипач повторил понравившуюся песню.

Художники возвращались к себе на гору поздно. Зимняя ночь, снег на вершинах, кипарисы, островерхие домики, белые, с красными черепичными крышами, — все это становилось вроде декорации, чересчур натуралистического театрального задника.

Старший из всех — с острым презрительным профилем, в распахнутой ковбойке — повторял, карабкаясь в гору:

— Сон! Сон! Сон!

Букву «н» он произносил жеманно, в нос. Однажды рано утром Степанов вошел к нему в комнату. Он увидел художника в кровати. Степанову стало страшно — все тело художника было в изорванных рубцах шрамов. Степанов тогда понял, почему именно этот художник с капризным «н» и презрительным лицом смог сделать одно из лучших полотен о последней войне и о Сталинграде.

Степанов тогда работал запойно. Он прилетел из Дамаска; там американцы готовили широкий заговор, и Степанов попал в самое горячее средостение событий. Вернувшись, ему пришлось делать две работы сразу: он писал очерк в газету, а потом сидел над окончанием романа, которому уже отдал год жизни. Однажды, когда затылок свело острой болью, он решил пойти в кино. Показывали фильм «Журналист из Рима». Там рассказывалась история честного неудачника, и еще там рассказывалось про женщину, которая его любила. И во всем этом, совсем не похожем на то, что было у Степанова и у Нади, вдруг оказалось страшно много общего и похожего, а может быть, Степанову так показалось. Он после не мог себе объяснить, отчего он сразу из кино пошел на переговорный пункт, заказал Москву и сказал:

— Надюша, приезжай, я не могу.

И она прилетела к нему вместе с Дунечкой, и это была прекрасная неделя, когда они жили все вместе в зимнем крымском городе: по ночам шел снег, он держался до обеда, а потом под солнцем блестели лужи, и в них купались голосистые воробьи; с гор прилетал ветер, пронизанный холодом. Однажды утром, когда было еще сумеречно, Степанов понял, что у холода есть свой особый запах — ни с чем не сравнимый, очень чистый и насыщенный, словно весной, в пору цветенья. И еще тогда он понял, что значит тепло. Оно летом принимается таким, какое есть, а здесь, утром, на снегу, солнечное тепло было тоже каким-то совершенно особенным, со своим запахом и своим цветом.

Он не мог понять, отчего именно там он так понял это — и про тепло и про холод. То ли из-за того, что работалось, то ли потому, что прилетела Надя и все у них было как-то по-новому, ломко и чуть удивленно, а может, оттого, что именно здесь, возле моря, он заскучал по Арктике, где прожил год с летчиками, тоскуя о море и теплом снеге — мягком и совсем не колючем.

Было им тогда очень хорошо — на горе, в полупустом доме. Бывают у людей также празд-

ники — солнце, снег, воробьи в лужах, и пустой теплый дом, и море внизу. Только праздники тем и отличаются от будней, что они коротки и быстролетны.

XIII

...Наташа жила в маленькой однокомнатной квартире. На большом столе, возле окна, лежала гора книг.

— Я рецензент, — сказала она, — этим и живу.

— Не хлебом единым жив человек, — улыбнулся Никита. — Дети на кухне, случаем, газ не включат?

— Не достанут, я отъединяю сеть. Хотите кофе?

— Хочу.

Наташа вышла на кухню. Никита огляделся. В комнате ничего не было, кроме большого письменного стола возле окна, маленькой кроватки Сани и узенькой кушетки, застеленной полосатым пледом. На стене висел портрет Хемингуэя, сделанный черно-белой краской. Писатель щурил глаза и улыбался скорбной, всепонимающей улыбкой. На кухне Дунечка играла с Саней и смеялась своим круглым смехом, будто колокольчик.

— Вот, — сказала Наташа, — пожалуйста.

— Слушайте, — спросил Никита, — а вы что, развелись?

— Нет. Я просто не выходила замуж.

— А как же...

— А вот так. Как-нибудь в другой раз мы устроим вечер вопросов и ответов.

— Наверно, это довольно глупо, что я к вам напросился?

— В какой-то мере.

Наташа сидела возле стола, и солнце делало ее еще более светлой, но если смотреть на ее профиль долго, то появлялась черная четкая линия, повторявшая лоб, нос, брови, и губы, и подбородок.

— Вы похожи на бабочку-траурницу, — сказал Никита.

— Тоже неплохо.

— А в остальные дни ваш сын живет дома или в садике?

— В садике. Там сегодня карантин.

— Что, если я к вам загляну завтра?

— Не стоит.

— Почему?

— То, чего хотите вы, совсем не хочу я.

— Это реакция на то, что было? — спросил Никита, кивнув на дверь, которая вела в кухню, где что-то кричал Саня.

— К тому, что было, дети не должны иметь никакого отношения. То, что было, — мое.

— Вы ненавидите то, что у вас было?

— Почему?

— В книгах так пишут.

— Смотря в чьих.

— У вас кто-нибудь бывает днем?

Наташа улыбнулась, поглядела на Никитины торчащие вихры и ответила:

— Да.

Никита почувствовал внутри холод.

«Идиот, — подумал он. — Не хватало мне еще в нее втюриться. Любовь с довеском». Он покраснел, потому что про «довесок» он подумал со зла, и ему стало стыдно.

— Знаете, — сказал Никита, — боюсь, что вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже, — ответила Наташа, — смешно, но это правда.

XIV

...После того как бракоразводный процесс кончился, Надя пошла к Никите, но его дома не было. Тогда она стала ходить по городу. Она рассматривала витрины. Сначала она ничего не видела, просто были какие-то яркие пятна перед глазами. Потом она увидела громадный пупырчатый огурец, выращенный по методу гидропоники.

«Он любил малосольные огурцы, самые свежие, — вспоминала Надя, — и с мацони, которое я покупала на Дорогомиловском рынке рано утром по воскресным дням. В мацони он сыпал много укропа. И еще он любил поливать простоквашей молодую картошку. Он красиво ел».

Надя долго стояла возле витрины магазина тканей. Было ей сейчас пусто-пусто и так легко, и горько, что даже не хотелось плакать.

«Эта полосатая пошла бы на занавески к нему в кабинет, — подумала Надя про длинный кусок сине-белого материала. — Через сине-белые полосы хорошо смотрится солнце ранним утром. Солнце не яркое тогда, и он не будет так рано просыпаться, а то он стал совсем мало спать. Хотя о чем я?.. Теперь его комната будет стоять пустая, и,

наверное, только временами он будет там — это если я вспомню его голос, и как он сидел за столом со своими друзьями, и как они читали Пушкина и говорили о Хемингуэе, и как я жарила для них чирков[7] и разливала по бутылкам смородиновую настойку... Дура, какая же я дура! Надо было быть спокойной, рассудительной и холодной. Таких только и ценят. А я? “Степушка, Степушка, хороший, глупенький, дурачок совсем даже”».

Надя ясно услышала свой голос, как она это говорила ему, а он все куда-то торопился и поэтому не стоял возле нее, как раньше, словно послушный бычок, а, быстро погладив ее по голове, говорил: «Я опаздываю, малыш», — и уезжал. И ей вдруг стало досадно оттого, что она старалась не отпускать его, и обнимала его голову, и что-то шептала на ухо нежное, как Дунечке, — ей стало вдруг сейчас так остро обидно, что лицо ее вспыхнуло.

Они поссорились второй раз из-за пустяка: Степанов вернулся с Северного полюса, они поехали в гости; Степанов много пил, смеялся, рассказывал смешные истории, а когда вернулись домой, он сел за стол и начал молча рисовать на бумаге

---

[7] Примечания: 7

Чиро́к (*лат.* Anas) — общее название небольших птиц из рода речных, или благородных, уток, а также некоторых др. родов уток.

профили волевых мужчин. Надя стала за его спиной и начала целовать его шею.

— Перестань, — сказал он.

— Что ты?

— Ничего. Перестань. Ты мне мешаешь.

Он сказал это грубо и не посмотрел на нее даже, а просто закурил новую сигарету.

Надя обиделась, легла на кровать и, отвернувшись к стене, тихонько заплакала. Она не любила людей с двумя лицами: только-только он был весел, смеялся, а сейчас, когда остались одни, груб и где-то не здесь. Надя вспомнила длинную белую женщину, как он сидел с ней возле окна и, хмыкая, что-то тихо говорил, а та восторженно глядела на него своими подведенными синими глазищами.

«Нет, ерунда, — стала успокаивать себя Надя, — он ведь не любит длинных, он сам мне говорил».

Она вспомнила, как однажды их пригласил один известный пианист на свой концерт. Он усадил их в ложу. Они смотрели, как он играл: лицо его жило музыкой, пианист сопел носом, жидкие белые волосы падали на его лоб, когда он мотал головой в экстазе, но вдруг он спокойно и внимательно, перестав сопеть, поглядел на ложу, где они сидели. Это был какой-то коммерче-

ский — спокойный и оценивающий — взгляд, как на его игру смотрят. Это коммерческое было так ужасно, что Надя ушла после первого отделения.

Надя очень любила слушать пианиста Евгения Малинина — он играл строго, лицо его было сосредоточенно и скорбно. На его концерты подчас приходили люди, которым было важно прийти на концерт — всего лишь. А он скорбно и сдержанно дарил свое искусство этим людям, которые разглядывали туалеты соседей и внимательно наблюдали за тем, кто с кем пришел. В этом разъединении музыки и зала было нечто оскорбительное для искусства.

«Он тоже двуличный, — думала Надя, рассматривая круглый затылок Степанова с торчащими хохлами над его двумя макушками. — Для тех смеялся, был интересным, а для меня — молчит».

С этим она и уснула.

А Степанов сидел до утра, прежде чем начал писать рассказ. Потом в журнале посвящение Наде сняли, потому что это сейчас не принято посвящать рассказы любимым женщинам. Так, во всяком случае, мотивировал ответственный секретарь.

В подоплеке многих трагедий — недосказанность. Так же, как и в подоплеке всех комедий.

Начало везде одинаково, только разные окончания.

XV

Степанов несколько раз звонил к Никите — он хотел переночевать у него, а назавтра взять командировку и улететь в Арктику на полтора месяца. Никиты все еще не было. Степанов подумал: «Куда он затащил Дуньку, дуралей? Спаси бог, не случилось ли чего?» Но он верил предчувствиям, а сейчас в нем не было страха. Было какое-то недоумение после всего происшедшего в суде. Все было суконно и безнравственно — в общем, так, как он себе и представлял. Только старичок народный заседатель, видимо из кадровых военных, сказал: «Девушка (он так назвал Надю), девушка, вы же его любите... Вы должны его любить больше себя, тогда вы будете счастливы». Больше старик ничего не сказал, а только уперся лбом в ладони и стал рассматривать зеленое сукно судейского стола.

Степанов зашел в скверик около памятника Пушкину, сел на скамейку, мокрую после недавнего дождя, и стал рассматривать памятник.

Он вспомнил, как поэт Григорий Поженян читал ему наизусть, то переходя на шепот, то уходя в крик, поразительные строки, которые — как он

уверял — написаны Пушкиным.

— «Я шел по набережной Мойки, — читал Григорий. — Кончили давать премьеру. Двери театра были распахнуты и освещены фонарями. Гвардейские офицеры выносили на руках Кукольника. Дамы аплодировали ему. Он был в распахнутой шубе — счастливый и улыбающийся, а я стоял один под фонарем, и меня никто не видел. И я думал: “Ну и пусть. Все равно мы пишем только для семнадцати прекрасных пар глаз России”».

«Ну, — сказал себе Степанов. — Вуаля.[8] Ты получил то, к чему, видимо, стремился. Ты свободен. Пользуйся своей свободой. Ты можешь делать все, что хочешь. Так что же все-таки свобода: осознанная необходимость или это пустота и одиночество?»

Он снова шел по городу не спеша, как-то по-новому разглядывая его. Возле телефонной будки остановился, поискал две копейки — их не было, опустил гривенник.

«Дорого стоит звонок, — подумал он, — черт возьми. А может быть, дешево. *Мы привыкли к чуду. Телефон — это чудо. Мы пресыщены чудеса-*

---

[8] Примечания: 8

Вуаля́ (*франц.* voilà) — вот (*част.*), вот так (*нареч.*).

ми. Мир набит мудростью радиоволн, в которых заключена вся сумма знаний середины двадцатого века. Это не может не влиять на хитрый и непознанный аппарат мозга».

— Алло, — сказал Степанов, услышав после долгих гудков мужской хрипловатый голос на другом конце провода. — Это ты?

— Я.

— Чем занимаешься?

— Ничем.

— Это смешно. Знаешь, что Николай Второй записал у себя в дневнике в день начала первой мировой войны?

— Не знаю.

— Он записал: «рье».

— Это по-каковски?

— Это по-французски, в переводе значит «ничего».[9]

— Погоди, стучат.

Степанов закурил и стал ждать, пока откроют дверь. Потом голос сказал:

— Ну, пока, созвонимся завтра.

Степанов, усмехнувшись, повесил трубку. Набрал следующий номер.

---

[9] Примечания: 9
Rien (*франц.*) — ничего.

— Алло, — сказал он. — Это Степанов.

— Даже если вы Иванов, то мне это ни о чем не говорит. Прежние владельцы разъехались. Я здесь живу неделю.

— Простите.

Он набрал третий номер.

— Кто это? — спросил он.

— А вы кто?

— Я — Иванов.

— Что вам надо?

— Многого. А кто это?

— Домашняя прислуга.

— Ах, домашняя прислуга... Понятно. А где ваши подшефные?

— В Коктебле.

— В Коктебеле, по-видимому. Смешно.

— Это вы мне?

— Нет, нет, до свиданья.

Степанов повесил трубку. Звонить дальше расхотелось. Он полистал книжку и набрал последний раз.

— Старик, — сказал он. — Это я. Ты чем занят? Да? Значит, ты закрыт для меня? Втроем? Нет, к черту! Я думал, посидим вдвоем. Я? Ничего. Ну, пока.

Все. Звонить больше было просто-напросто

некуда. *У всех нас тысячи знакомых и сотни телефонных номеров в записных книжках. Но попробуйте отыскать хоть пяток тех телефонов, куда вы можете позвонить, если пусто и ничего кругом не понятно. Отыщете — значит, вы счастливец.*

«Надька, Надька, — вдруг подумал Степанов, — какая же ты дура! Старик сказал точно: “Вам надо любить его больше себя, и тогда вы будете счастливы”».

Он закурил и сел на скамейку возле памятника Пушкину. «А почему, собственно, — возразил он себе, — она должна меня любить больше себя? Что я — Галилей? Или Шекспир? И потом, кто сказал, что жена Шекспира любила его больше себя? Может, такая была стерва — что только держись... Любить больше себя... Эгоизм или мания величия, Степанов? Или я начал рефлектировать, как пореформенный либерал? А может, я во всем виноват пишу свою муру и требую к себе отношения как к богу...»

«Они были такими друзьями, что даже зевали вместе». Степанов тоже имел таких друзей, с которыми вместе зевал, но один сейчас сидел с милой женщиной, другой улетел черт-те куда, третий разъехался с женой... Пусто. Нет никому

дела до свободного человека. Дьявольщина! Дай человеку свободу, так он тюрьму попросит.

Адам и Ева! Адам и Ева! Вопрос вопросов — быть или не быть? Господи, как же мы мельчим проблемы! Кто есть искуситель? Что есть искушение? Почему сладок запретный плод? Где граница между нагромождением ханжеских условностей и предательством самого себя? Человеку ненавистна тирания, но сначала он обязан раскрепостить самого себя. Развитие наук так опережает установившийся уклад, что в этом опережении и кроется вольтова дуга современных конфликтов — во всем, начиная с философии и кончая любовью мужчины и женщины. Разные поколения людей, говорящих на одном языке, все равно нуждаются в переводчиках. Этими переводчиками являются писатели и художники. Они — память века, они — толмачи настоящего. Не надо поклоняться художнику, но обязательно следует понимать, что поиск — всегда самое трудное. Геолог в дальней трассе получает дополнительное питание. Тем, кто строит железные дороги, платят «дорожные» — за то, что они вечно в пути. Кто подсчитал, сколько физической и духовной энергии расходует художник, когда он в своем поиске? Чей герой кричал: «Милосердия

прошу, люди! Милосердия!»?

Художник обязан получать от любящей женщины только одну льготу: на счастье и отчаянье, на день и на ночь, на ошибку и на прозрение.

К Степанову подошла молоденькая девушка, еще подросток. В руке у нее была плетеная сумка с ландышами. Ландыши были свежие, только-только из лесу. На них еще были следы росы. А может быть, недавнего дождя, но все равно на острых зеленых листьях эти капли — продолговатые, прозрачные и холодные — казались каплями росы.

— Купите для дамы, — сказала девушка.

— Нет у меня дамы. Ну-ка, присядь.

— Что вы... Мне нельзя. Милиция погонит.

— Подбери мне пять самых красивых букетов.

Девушка выбрала самые красивые букеты, встряхнула ими, как встряхивают материалом продавцы текстиля, и на колени Степанова упали холодные капли с тонких бледно-зеленых стебельков.

— Вот, пожалуйста, — сказала девушка.

— Спасибо. Держи, — сказал Степанов, протягивая ей деньги, — и это тоже. От меня, — он протянул ей цветы. — Ну, держи, держи, не бойся, глупая.

Девушка порицающе качнула головой и быстро отошла от Степанова, кося маленькими черными глазами, подведенными синей краской.

Какая глупость: сейчас, после того как мы разошлись, я могу идти куда хочу, и не звонить, когда вернусь, и ничего не объяснять, где я, и не оправдываться, отчего задержался. Но какая все это, в сущности, мелочь — и как она гадит то, что следует называть «затянувшимся диалогом». Кто это сказал: «Человеку надо жить в тюрьме, откуда выпускают на воскресенье»?

А может быть, вся трагедия заключалась в том, что я мало мечтал из-за того, что слишком много работал? Может, я стал слепнуть, а она по-прежнему видела все в том будущем, которое нам хотелось видеть тогда, восемь лет назад?

Степанов повторил про себя: «в будущем, которое хотелось видеть восемь лет назад». Он хмыкнул: «Ничего себе фразочка. Сплошной

плюсквамперфектум.[10] По-моему, именно так — классический образчик. Обидно совсем я немецкий стал забывать...»

Мальчишкой Степанов жил под Берлином — он трижды убегал на фронт, к отцу, и наконец попал к нему. Это были первые мирные дни сорок пятого года. Он тогда жил с отцом в Рансдорфе, вокруг были озера с песчаными берегами и сожженными купальнями. Черные, обуглившиеся столбы трагически смотрелись на светлом песке, возле прозрачной тихой воды. В доме, где жил Степанов, каждый день к обеду подавали громадных сытых раков. Они лежали красной горой на большом белом блюде. Однажды Степанов попросился поехать со стариком немцем, который поставлял этих раков. Они долго плыли по озеру, а потом остановились возле небольшого островка, и старик стал ловить раков.

— Почему они такие большие?

---

[10] Примечания: 10

Плюсквамперфе́кт (от *лат.* plus quam perfectum — «больше, чем совершённое») — действие в ***пред****прошедшем (****давно****прошедшем) времени.*
Предпрошедшее время выражает действие, которое случилось *до/ранее* какого-то другого действия **в прошлом**. Например: *«Вчера Катя сначала сходила в магазин, а потом мы стали смотреть телевизор».*
То есть, **вчера**, перед просмотром телевизора, Катя **сначала что-то купила в магазине**, и только потом они стали отдыхать. Поход в магазин в данном примере является тем самым действием в ***пред****прошедшем времени.*

— О, это мой секрет, — ответил старик. — Тут был сильный бой. Раки питаются падалью, поэтому они такие жирные, милый мальчик.

А потом было много лет — и прекрасных, и страшных лет, пока он не встретил Надю. Слишком много у него было всего до нее — дорог, разлук, радости, горя. А у нее ничего не было. У нее появилось только одно — любовь к Степанову, отчаянная и единственная, готовая на все, — другую такую редко сыщешь. Она прощала ему все, что было раньше, до нее, и принимала все то, с чем он шел к ней, а потом наступил какой-то день или час, или минута, когда она не захотела ничего прощать — и даже того, чего не было вовсе. А если так, то приходит крах. Вот он и пришел.

XVI

Наташа сказала:

— Как бы мне объяснить тебе? У мужчины и у нас — все по-разному, понимаешь? Я если обнимаю тебя, так я тебя вроде как Саньку обнимаю. А у тебя все равно когти, это помимо тебя. Честное слово, нам то, что называют благостью или как там еще, поосторожнее, нужно гораздо реже, чем вам. Ты не верь книгам. Писатели-мужчины этого не знают, а писатели-женщины стесняются писать про это правду, чтобы их не сочли сентиментальными, а когда пишут так, как мужчины, — то, значит, врут на потребу современному вкусу.

— А как вариант «замуж»? — спросил Никита.

— А что это за вариант?

— Ну, за меня?

Наташа долго смеялась, причем Никита понял, что смеялась она совсем искренне, ни капельки не играя, и поэтому он не обиделся на нее, а взял ее руку и стал разглядывать ладонь. Наташа попросила:

— Только не вздумай мне гадать.

— Ты не веришь?

— Не в этом дело. Сейчас все стараются начать роман с гаданья по линиям руки.

В комнату вошли Дунечка и Санька.

— Никит, — спросила Дунечка, — а мы с тобой к Ане пойдем или не надо?

Никита покраснел и сказал:

— Никуда мы с тобой не пойдем, поняла? Здесь останемся.

— Ну-ка, марш мыть руки, — сказала Наташа, — Саня, покажи Дунечке, где у нас полотенце и мыло.

Дети ушли в ванную и там стали визжать и кричать что-то пронзительное.

— Никиток, — сказала, чуть улыбнувшись, Наташа, — знаешь что? Спасибо тебе за то, что я тебя сегодня встретила.

— Откуда ты знаешь, что меня зовут Никиток?

— Ну а как же тебя звать иначе? Тебя только и можно звать — Никиток. И на будущее: *никогда ни перед кем не оправдывайся. Свобода, которую мы все так любим, рождается в нас, в каждом поодиночке.*

XVII

Жара была медленной, с синевой, которая поглощалась красной водой реки. Речной трамвайчик плыл по самой середине красной реки. Носом он разрезал солнце, которое катилось от него прочь, подталкиваемое двумя тяжелыми черными волнами.

У Нади еще было время до приема в клинике, и поэтому она решила доехать до Химок на пароходике, а там дойти пешком, чтобы глаза не были опухшими, красными.

Она сидела на палубе одна, и ветер обдувал ее, и он был упругим, и если вытянуть навстречу ему ладонь, то он сразу же послушно, по-пёсьи, принимал форму ладони, повторяя линию жизни, подушечки пальцев, рисунок ногтей.

«У меня рука похожа на Тонину, — подумала Надя, опуская пальцы на колено. — Только у нее ногти еще короче обстрижены».

Тоня работала вместе с ней. Она часто говорила:

— Надюша, дуреха, ну что ты качаешься на люстре?! Мужики все одинаковые. Они как коз-

лы. Или волки — все в лес смотрят. Если их на короткой веревке держать — оборвут, и поминай как звали, а на длинной привязи — ходят себе всю жизнь — и счастливы! Свобода, брат, свобода, брат, свобода...

— При чем здесь веревки? — сердилась Надя. — Вообще держать никого нельзя рядом — насильно. Но ведь есть же люди, которые все время рвутся домой, а он, наоборот, все время норовит улететь из дома.

— «Улететь, улететь», — передразнила ее Тоня, — мужья сейчас по небу не летают... А отцы — особенно... В этот жестокий век надо милосерднее быть, Надюха, добрее, что ли... Ты все идеального хочешь, а Дунька тебя потом спросит: «Отчего папа ушел?» Что ты ответишь ей? Он что — к другой бабе ушел?

— Да не волнует меня это, — поморщилась Надя, — не в этом дело...

— В этом, в этом, — жестко прервала ее Тоня. — Именно в этом, милая, и себе-то хоть не ври... Хотя ты из самоедок, таким — трудней.

Пароходик проезжал мимо пляжа. Там было много людей, кто-то пронзительно играл на маленькой серебряной трубе. Надя не могла рассмотреть — кто, потому что трубача окружала

большая толпа ребят и девушек.

Надя закрыла глаза и увидела Степанова в красной рубашке с короткими рукавами, он что-то говорил и смеялся. И был такой же летний день, только воскресенье, на улицах было много народу — начался фестиваль молодежи, и все люди тоже смеялись, из автобусов вылезали негры с трубами и гитарами и пели песни, зазывая прохожих петь вместе с ними, и прохожие пели вместе с ними, а негр-трубач заходился, закатывая глаза. Степанов смеялся, говорил что-то Наде, обняв ее за шею, и было это прошлым летом, нет, не прошлым летом, а нынешней весной, нет, это было сегодня, когда они сидели в суде, и она смотрела на него сзади, когда он стоял перед судейским столом, и она видела его оттопыренные уши, затылок с двумя макушками и вихром, а ей казалось, что она видит его лицо и как он смеется, смотрит на поющих негров и говорит ей: «Прелесть какая, а? Какая прелесть...»

XVIII

Никита поехал с Дуней домой, но там никого не было, и он по рассеянности своей не понял, что быть здесь никого и не могло, потому что ключи были только у него одного.

— Где твои предки, — спросил он Дуню, — как думаешь?

— Не знаю, — тихо ответила Дунечка, — когда я была у Шурика, мне было хорошо-хорошо, я ни о чем не вспоминала, и мне страшно не было совсем даже.

— А чего тебе бояться?

— Не знаю.

К Никите позвонили ребята с курса и сказали, что сегодня его очередь дежурить у Полины Терентьевны, преподавательницы пластики.

Никита взял Дуню, и они пошли к Полине Терентьевне в Брюсовский переулок.

— Ты не устала, Дунь?

— Что ты... маленькие вообще не устают. Ты попробуй с мое каждый день повертись.

XIX

Степанов зашел в уличное кафе под полосатым тентом. За двумя столиками возле окна сидели ребята лет по двадцать и играли в шахматы. На столиках у них стояло кофе, и ничего больше. Степанову было слышно, как они глубоко затягивались сигаретами.

Было очень тихо, только шумела улица, видная через сквер, но шум ее был далеким, он не мешал тишине. Один из пареньков подозвал официантку высоким, резким голосом.

— Барышня, — сказал он, — что за безобразие, я уже три раза писал вам в книгу — когда будет боржоми? Я не могу пить нарзан, у меня кислотность пониженная.

«Вот сволочь, — подумал Степанов. — Нарзан ему нельзя пить. Кислотность у него не та».

Он вспомнил, как в сорок втором кто-то сказал, что очень вкусное кошачье мясо, и они поймали кошку, у которой были котята на чердаке. Они ждали, пока котята чуть повзрослеют, а потом уж не могли дождаться толком от голода, поймали кошку и притащили ее в подвал.

— А кто ее прибьет? — спросил Витька, по клич-

ке Фантя.

Все смотрели друг на друга и молчали. Фантя считался командиром. Он снял с себя ремень и обвязал его вокруг кошкиной шеи. Кошка лежала у него на коленях, и, когда он начал обвязывать ремнем горло, она стала мурлыкать и тереться об его острые колени. Было так же тихо, как и сейчас в этом кафе, только где-то медленно капала вода.

— Ну, — сказал Фантя, — уходите.

Ребята ушли и стали за дверью. Сначала было тихо, а потом кошка страшно и тягуче замяукала, а после она стала кричать, как человек. Когда ребята вошли в котельную, Фантя лежал на полу, — ему нечем было тошнить, кроме как горькой зеленой желчью. Он был исцарапан до крови, а рядом лежала кошка — сейчас она казалась маленькой, словно котенок.

— Жрите, — сказал Фантя глухо, — я не буду.

«А впрочем, — продолжал думать Степанов, разглядывая паренька за столиком, — зря я сейчас про него так подумал... Как старая брюзга... Его отец голодал — у сына плохо с пузом, за что же я на него озлился? Степанов, Степанов, ты становишься злым, мелочным — а значит, старым... И это очень плохо...»

XX

Парализованная балерина Полина Терентьевна, преподавательница Никиты, долго смеялась, когда Дунечка рассказывала ей про то, как рисовать балерин.

— А ты мне потанцевать не хочешь? — спросила она.

— Хочу, — сказала Дунечка, — а вы смеяться не будете?

— Не буду.

Побледнев от волнения, Дуня вышла на середину большой темной комнаты, подняла кверху руки и стала танцевать свой извечный испанский танец. Никита сел к роялю и стал тихонько подыгрывать ей. Дунечка прыгала, кружилась; маленькое тельце ее было пластичным; лицо ее замерло и сделалось торжественным и отрешенным.

Никита кончил играть, Дунечка остановилась и сделала низкий поклон.

— Ты молодец, Дунечка, — сказала Полина Терентьевна, — ты хорошо танцуешь.

— Мы с ней твист наяриваем, Пол Тере,[11] — сказал Никита.

— Боже, какая прелесть, я ведь ни разу не видела этого танца.

— Это не танец, а загнивание мировой буржуазии, — сказал Никита, но, между прочим, если это загнивание, то загнивать приятно. Кричат, что это плохо. Пошляк может и падеграс[12] станцевать так, что вырвет.

— Никита, здесь девочка, думай, когда говоришь.

— А я все равно знаю, — сказала Дунечка.

— Маленькие дети — добровольные шпионы, — засмеялся Никита и крикнул: — А вот твист! Твист! Твист!

Они танцевали твист до того слаженно и умилительно, что Полина Терентьевна стала им подпевать:

— А вот твист! Твист! Твист!

— Поем твист! Твист! Твист! — выкрикивал Никита, приседая почти до пола.

---

[11] Примечания: 11

Пол Тере — сокращение от *Полина Терентьевна.*

[12] Примечания: 12

Падегра́с, или **па-де-грас** (от *франц.* pas — шаг и *франц.* grâce — грация, изящество) — русский парный бальный танец, для которого характерно чередование мягких шагов с приседаниями и фиксированных поз.

— Твист! Твист! Твист! — пела Дуня.

Никита посмотрел на Полину Терентьевну и поразился. Она — недвижная, укрытая по горло пледом — показалась ему сейчас танцующей вместе с ними. Сначала он не понял, в чем дело, а потом сообразил — это все от ее глаз. Глаза старухи — громадные, иссиня-черные — танцевали сейчас вместе с Никитой и Дунечкой. Они были так выразительны, что в них сосредоточилось все — и стремительная музыка, и движение, и молодость, и та грация, которая делала имя Полины Терентьевны известным всему миру.

— Дунечка, — сказала Полина Терентьевна, — пусть дядя шалопай почаще приводит тебя ко мне, и я тебе поставлю несколько танцев.

— А я и так стою, — зачем же меня ставить?

— Сообразительность у тебя мамина, — сказал Никита. — Поставить танец — значит показать его.

— А как же Полина Терентьевна мне покажет? У нее ведь нет рук.

— Дуня, ты дурочка, поняла?!

— Совсем она не дурочка, Никиток. Она сказала правду, почему же дурочка? Это ничего, Дунечка, это ничего, что нет рук. Ну-ка стань к станку. Вон, у стены, видишь палки? Это станок. Иди. Только

разденься, я посмотрю, какая ты голенькая.

Дунечка разделась и сказала:

— Видите, у меня трусики, как у взрослой женщины.

— Да, прекрасные трусики... Ну-ка, возьмись левой рукой за станок. Ногу в сторону, и — раз! Носочек тяни! Хорошо! Приседай! Ниже! И — раз! Да, из нее можно будет что-то сделать. Еще раз! Носок тянуть! Сесть ниже!

— Вас покормить, Пол Тере?

— Да, пожалуйста.

— А где хлеб ваш насущный?

— На подоконнике.

— Дуня, принеси тарелку.

Дунечка принесла тарелку с гречневой кашей, и Никита стал кормить Полину Терентьевну с ложки.

— Вы как маленькая, — сказала Дунечка, — только послушная. А меня просят: «За маму ложку, за папу ложку».

— Пол Тере, а я вроде влип...

— Это прекрасно.

— Ничего прекрасного. Там все непонятно. Дитя. И отсутствие фатера.

Дунечка сказала:

— Фатер — это папа по-немецки.

— При чем здесь все это, если влип? — удивилась Полина Терентьевна.

— Ну все-таки...

— Значит, ничего не произошло, если ты здраво соображаешь. Нет ослепления. Это пустое, если все видишь. Любовь не для зрячих.

— А зрячие это какие? — спросила Дуня.

— Знаешь что? Иди-ка потанцуй нам, — сказал Никита. — Кому говорю?

Дунечка вышла на середину комнаты и стала танцевать.

— А мне без музыки скучно.

— Никиток, включи радио, — сказала Полина Терентьевна.

Никита включил радио. Первая станция передавала беседу о китобоях, вторая станция рассказывала о новом открытии в физике, за которое наши ученые получили Нобелевскую премию, третья станция транслировала концерт для балалайки с оркестром.

— Черт, — сказал Никита, — дитю танцевать не подо что.

— Поставь на «Маяк», они передают музыку.

Никита нашел «Маяк». Там передавали песни.

— Это называется «Лирическая о Москве» Бабаджаняна, — сказал Никита, — чтобы не называть

«Московский твист».

— Это не важно, как называется. Все названия рано или поздно слезают, как старая краска с заборов. Остается суть.

— Влюбиться хочу, Пол Тере, спасу нет.

— Это очень плохо, Никиток. Если все идет оттого, что ты хочешь влюбиться, тогда лучше побыть час с нелюбимой женщиной. Любовь — это страдательный залог, и это прекрасно...

XXI

Степанов шел по вечерней улице Горького.

«Какие красивые теперь лица у молодых людей! — думал он. — Они все родились после сорок пятого, они не знали того, что знали мы. Счастливые люди. Говорят, страдание возвышает. Это глупость. Страдание унижает человека, делает его трусливым и жалким».

— Старик! — крикнул кто-то за спиной у Степанова.

— Левонушка! — обрадовался Степанов. — Рад тебя видеть, черта седого. Ну, как ты?

— Воюю с критикой.

— Зачем? Воевать надо с врагами. Критики при всем при том наши друзья.

— Уж не принял ли ты обет всепрощения? Они раздраконили меня ни за что ни про что.

— Ты чудак. Критик, как правило, несостоявшийся творец, понимаешь? Отсюда его нервозность, придирчивость, неуравновешенность, полярность мнений и смена симпатий — все как у женщины. Мода, как у женщины, слухи, как у женщины. Или как у меня — сейчас. Вот и получается, что они, в общем-то все понимая, ничего

с собой поделать не могут. Они неврастеничны и злятся, что никто не бранит зло именно так, как его следовало бы бранить. Вроде меня, старик, вроде меня... Они нашпигованы идеалами и не могут их выразить в образах, оттого нападают на тебя. Но чем больше они нападают зазря или хвалят вслепую, тем сильнее накаляется атмосфера. И в этой ограниченной атмосфере вокруг нас скапливается огромное количество полярных суждений. Это как собирается грозовая туча. Разные заряды. А потом чем выше концентрация нервной полярности, тем скорее сверкает молния. Значит, чем они яростнее психуют, тем больше пользы приносят главному — нашему творческому процессу.

— Гениальный ты парень, как погляжу: ахинею несешь. Бред. Только гениям в наше время позволено нести ахинею.

— Знаешь, что такое гений?

— Что-то вроде одного процента таланта и девяноста девяти процентов задницы? В смысле усидчивости.

— Это хрестоматийно, — усмехнулся Степанов. — Гениальность следствие неправильного обмена веществ. Люди с нормальным обменом веществ не в состоянии этого понять.

— У тебя как со щитовидкой?

— Увы... Я абсолютно здоров и обмен веществ проверял: как в аптеке. Так что, старик, помирать нам в рубрике «и др.».

Левон остановился, достал сигарету, закурил и, поправив свои седые жесткие волосы, спросил:

— Старик, ты чувствуешь, как мы все стареем, а?

Кажется, совсем недавно они ходили втроем по улице Горького: Левон, Фелька Ласик и Степанов. Они шли обнявшись — рыжий Фелька, черный Левон и бритоголовый Степанов, — шли и пели привязавшуюся песню про молодого солдата: «Парень девушку обнял нежно левою рукой...»

А потом они ехали танцевать в «Спорт» на Ленинградском проспекте. Там их ждали Батон и Мишаня.

Батон погиб при постройке тоннеля в Сибири, а Мишаня год назад умер, проводя опыты в своем институте. Его хоронили на Новодевичьем, и несли на красных подушечках ордена, и солдаты стреляли холостыми зарядами в низкое, осеннее небо.

— Нет, — сказал Степанов, — мы не стареем, Левонушка. Просто мы живем.

— В этой фразе есть какой-то сволочизм: «про-

сто живем»...

— Почему? Смотря как относиться к жизни. По-моему, жизнь должна быть как в Первомай или на троицын день. Как праздник, который мы носим в себе. Тогда мы не заметим старости...

— Хреновина и прагматизм. Ты прагматик и экзистенциалист. Не стыдно тебе быть прагматиком? — усмехнулся Левон. — Мне — стыдно.

XXII

— Дунька, — сказал Никита, — где же твои сумасшедшие родичи?

— Они не сумасшедшие.

Никита только что звонил им домой, и там никого не было, а уже пробило девять часов, и они шли с Дунечкой в молодежное кафе, где Никиту ждала Аня.

— Ты устала, Дуньк?

— Нет, совсем не устала, что ты, Никиток.

— Хочешь на ручки?

— Хочу.

Никита взял Дунечку на руки, и она обняла его за шею.

— Дуня, — тихо сказал Никита, — а тебе Наташа понравилась?

— Она же красивая.

— Возьму на ней и женюсь.

— Женись, только она ведь тебя не любит.

— А кого же она любит?

— Что ты, глупенький даже совсем, да? Шурикиного папу.

— Откуда ты знаешь?

— Так моя ж мама любит моего папу, правда?

Они все так, разве не знаешь?

Аня заняла место за столиком рядом с джазом. Ее многие узнавали, потому что недавно она снялась в фильме. Она погладила Дунечку по голове и сказала:

— Я вас полчаса жду. Еще немного — и отдала бы место другим.

— Чего ж не отдавала? — спросил Никита. — Могла б отдать...

— Что с тобой?

— Со мной ничего. Что с тобой?

К Ане подошли две девушки и попросили автограф на фотокарточке. Аня расписалась — подпись у нее была неустоявшаяся, и на двух портретах она расписалась по-разному.

— Плохо меня сняли, да, Никит?

— Ничего, — ответил Никита, — сходство есть.

За соседним столиком сидели студенты-физики.

— Парни! — говорил худенький юноша в голубой, плохо выглаженной рубашке. — Мы становимся удобрением прогресса. Физика уступает место биологии. Если они поженятся, то биофизика объяснит мир. Я готов ответить на вопрос о структуре и принципе электрона, но я ставлю вам всем второй вопрос: что направляет

миграцию рыб? Кто светит маяками гусям во время перелетов? Что есть царство муравьев? Отчего вас гложет предчувствие? Каким образом вы за несколько дней до счастья уже ощущаете, что оно грядет? Кто объяснит мне сложнейшую структуру пчелиного мозга? Вопросы примитивны, но объясните мне примитивное.

— Мы обязаны уйти в микромир, тогда придет переворот в понимании всего мира вообще, — сказала девушка с сигаретой в плоских пальцах. — Мы замучены догмами девятнадцатого века. Неудовлетворенность обязана быть религией ученого.

— Во дают, — сказал Никита, — хотя ничего излагают, собаки.

— У тебя какие-нибудь неприятности? — спросила Аня.

— Да.

— Какие?

— Мои.

— Дунечка, что с твоим дядей?

— Ничего. Он просто хочет жениться на Наташе, а у нее ребеночек, ответила Дунечка, растягивая слова.

Аня отпила немного кофе, и было видно, как у нее чуть дрогнула рука.

— Это правда?.. Никит?

Джаз неистовствовал. Несколько человек на площадке возле джаза молча и сосредоточенно танцевали.

— Это верно, Никит?

— Ты ее слушай больше, она ж маленькая.

— Разве я сказала неправду, Никит? Ты ж мне сам говорил.

За спиной физики снова начали кричать:

— Физика сделала свое дело, ее гений поставил мир на грань гибели! Теперь пришла пора биологам объяснить психологию позвоночных! Степень их отличия от муравьев! Теперь биология обязана объяснить человеку человека!

— Физики, — попросил Никита, — можно потише, а?

— Ты лирик, по-видимому? — спросил Никиту парень в голубой рубахе.

— Лирик.

— Тогда сиди и помалкивай. Вы, лирики, еще лепетать не можете, вы живете на карачках.

Девушка с плоскими пальцами лениво сказала:

— Все-таки, есть Феллини, не будь таким строгим.

— Феллини занимается человечеством, он

биолог! А наши киношники чем занимаются? Плохим директором и хорошим председателем!

— Ты дурак, длинный, — сказал Никита. — Дурак, понимаешь? Дай нам разобраться сначала в плохих директорах и хороших председателях. Не гони картину. Высшая революционность искусства заключена в его эволюции. От Тредиаковского — к Пушкину, от Радищева — к Толстому. От Лермонтова — к Маяковскому. Вот так. От Эйзенштейна — к Феллини. Не надо считать себя человеком с голой задницей.

— А он мыслит, — усмехнулась девушка с плоскими пальцами.

И физики снова начали тихо спорить — теперь они говорили о константе кривых линий, и о том, что прямых линий тоже нет, и о том, что все прямое обязано складываться и складывается из ломаных кривых — вроде кардиограмм сердца.

— Дунечка, хочешь ко мне на колени? — спросила Аня.

Дунечка села к Ане на колени, и Аня стала гладить ее по голове, хмуря свои черные брови и сосредоточенно рассматривая скатерть, по которой расплылось кофейное пятно.

Никита отошел к буфету купить сигарет. Дунечка сказала:

— Ты не расстраивайся, Анечка, он же у нас шалолопай.

— Он у нас не шалопай, — тихо сказала Аня, — он у нас Никитка.

К Ане подошел молоденький офицер-медик и сказал:

— Завтра улетаю на Чукотку, потанцуйте со мной, я буду вас два года вспоминать.

— Простите, только я не буду, — ответила Аня, улыбнувшись, — я с Дунечкой.

— Иди, иди, — сказала Дуня, — иди.

И поцеловала Аню в щеку. Аня покачала головой и снова улыбнулась офицеру-медику. Он отошел, а потом вернулся и сказал:

— А когда вернется ваш спутник — можно?

Аня снова покачала головой, но подошел Никита с сигаретами. Дунечка спрыгнула с коленей девушки и сказала:

— Ну, не воображай, иди.

И Аня пошла танцевать с офицером. Она была тоненькая, сзади похожая на мальчишку — в джемпере из толстой шерсти и в джинсах.

— А она красивей Наташи, — сказала Дуня.

Официантка принесла бутылку вина. Никита налил себе красного вина в большой фужер и залпом выпил. Закурил, подышал носом, налил

себе еще и снова выпил.

— Дай мне языком попробовать, — сказала Дунечка.

— Фига.

— Папа давал.

— Ну на́, только чуть-чуть.

Дуня лизнула и зажмурилась.

— Ане оставь, — попросила она, — а то ты все можешь кирневич-валуа.

— Чего ты такая заботливая стала? Сама говорила — волосатая.

— Мало ли что сказать можно, — ответила Дунечка, вздохнув.

— Ничего я не понимаю, Дунька, — вздохнул Никита. — Ничего.

— Эх ты, глупенький, горе мне с тобой, — сказала Дунечка фразу, которую говорила ей Надя, — дурачок совсем даже необразованный...

XXIII

Степанов заехал в редакцию. Народу было мало, многие уехали отдыхать, другие разлетелись по командировкам. Степанов зашел в секретариат и спросил:

— Ничего не слышно, как там моя командировка в Монголию?

— Пока не слышно ничего, — ответил замсекретаря. — Ты же летишь в Арктику.

— Я рассчитываю вернуться оттуда через месяц.

— К тому времени что-нибудь прояснится. Ты свой материал, кстати, вычитал? Если из ЦСУ ничего не придет — может быть, поставим тебя.

Степанов пошел в отдел, к секретарше с таинственным именем Флорина, взял у нее гранки, которые лежали в серой папке набранных материалов, и заперся в пустом кабинете — это был очерк из его последней командировки.

XXIV

В клинике уже знали, что Надя только что развелась с мужем. Как и кто узнает об этом первым — сказать невозможно. Тоня, конечно, никому ничего не говорила. Бог с ними, пускай...

Огромная бабища — Надя забыла ее фамилию, она все время мечтала заменить свой золотой мост на фарфоровый, — усаживаясь в кресле, смотрела на Надю скорбными глазами, а потом не выдержала.

— Бедная вы, бедная, — сказала она, — какое коварство и низость... Инженер человеческих душ к тому же...

— Откройте рот, — попросила Надя.

Женщина широко открыла свой непропорционально маленький, аккуратный ротик и продолжала, мешая Наде работать:

— Я бы на вашем месте, — говорила она, но из-за того, что рот ее был широко раскрыт, выходило: я ы а ашем есте... в партком... Или как это у них называется — ит... онд...

Надя улыбнулась и переспросила:

— Куда, куда?

— В Литфонд, — ответила пациентка, почув-

ствовав, что сможет закрыть рот и поговорить хоть минуту.

Надя сделала ей укол.

— Больно...

— Ничего. Посидите десять минут, пока подействует новокаин.

— Я вас очень уважаю, — продолжала говорить бабища, тяжело поднимаясь с кресла, — но порой вы меня поражаете... Вы какая-то безвольная. Я бы своего сгноила в Сибири... А никакой не развод! У Потапчук ушел муж, так она его — нашатырем, нашатырем! И ничего — вернулся, и прекрасно живут. Надо бороться за свое счастье, Надежда Евгеньевна. А так — дай им только свободу! Им ведь что надо — талию сорок два и бюст — конусом...

Надя бросила шприц в тазик и быстро вышла в соседнюю комнату.

— Тонечка, — попросила она, — сделай этому животному еще один укол, чтобы оно окончательно заморозилось...

Сняв трубку, Надя набрала номер телефона: у Никиты никто не отвечал. Она позвонила домой: там тоже никого не было...

XXV

Степанов стоял возле запертой двери и колотил в нее кулаком. Соседка из квартиры напротив испуганно приоткрыла дверь на цепочке и сказала:

— Его нет, что вы стучите?

— Может, спят...

— Да нет же, я видела, как они уходили.

— Утром?

— Почему утром? Вечером.

Степанов спустился вниз и позвонил из автомата домой. Слушая длинные гудки, он вспомнил, как летом они жили у моря. Рано утром он садился работать, а Надя с Дунечкой отправлялись на пляж, под навес. Они всегда садились где-нибудь с краешку, чтобы быть одним.

Когда Степанов прибегал, чтобы ополоснуться, он всегда подолгу стоял в стороне и смотрел, как Дунька играла с Надей. Сильное и красивое тело жены и маленький вьюн рядом — Дунечка. Они о чем-то шептались, тихонько смеялись, собирали камушки, а потом шли в море. Дунечка каждый раз боялась входить в море, и Надя вносила ее на руках. Дунечка так и плавала, лежа на руках у На-

ди, шлепала ногами и руками по воде, поднимая синие брызги, и кричала:

— Я рыбка!

А еще он вспомнил, как они ждали его, когда он возвращался откуда-нибудь, и как Надя что-то готовила на кухне, а Дунечка сервировала стол, и потом они обе — такие похожие два самых дорогих существа — сидели напротив него и молча смотрели, подперев одинаковые головы одинаковыми ладонями, как он ест.

А еще он вспомнил, как к нему по утрам приходила Дунечка в длинных полосатых брючках и в теплой кофточке, забиралась к нему на грудь и просила:

— Побеседуй со мной, пожалуйста, а я тебе расскажу, что мне во сне показывали.

«Неужели этого никогда не будет? — подумал Степанов. — Никогда, никогда? Наверное, я должен был не давать развода и постараться еще раз объяснить все про себя, но ведь нет ничего обиднее, когда приходится выскребывать себя тому человеку, которого считал самым близким, который все понимал и обязан был понимать».

Он поднялся наверх и остановился возле Никитиной квартиры.

Соседка отворила дверь и сказала:

— Что ж вы на площадке-то? Заходите, у нас подождете.

— Спасибо.

— Заходите, заходите.

Степанов вошел в квартиру. Его провели в длинную комнату, где мужчина и мальчик смотрели телевизор. В смежной комнате стояли подряд три кровати, и на них спали дети — два мальчика и маленькая девочка. Они все были укрыты одинаковыми одеялами, и головы у них были одинаково подстрижены под горшок. На полу, в изголовье у девочки, — она была самой маленькой, лежала кукла с оторванной ногой.

Степанов спросил:

— Самая любимая?

Мужчина, сидевший у телевизора, и мальчик враз обернулись и недоуменно посмотрели на Степанова.

— Это я про куклу с оторванной ногой, — пояснил Степанов, — она, верно, самая любимая у девочки.

Но его снова не поняли, и Степанов сказал:

— Это я так, ничего. Не беспокойтесь, пожалуйста.

Мужчина и мальчик снова обернулись к телевизору. Шла передача «Здоровье», и круглолицый

врач с бритой головой обстоятельно рассказывал про то, как надо сохранять вечную молодость.

Женщина стояла за спиной у Степанова, сосредоточенно слушала передачу и гладила детские рубашки.

«Вот так, — подумал Степанов. — У меня на сердце страх, тревога и смятение. А у них спокойно, вот и телевизор их не раздражает, и рядом спят трое карапузов, а четвертый сидит возле отца и слушает белиберду про то, как надо сохранять вечную молодость».

— Позвольте, я посмотрю, не вернулся ли он, — сказал Степанов.

— Тут слышно. Мы б услышали.

— Да?

— Конечно. Между прочим, я давно хотела с вами о племянничке поговорить. Хороший он мальчик, только домой так поздно приходит, так поздно... А еще как соберутся, так песни орут, так орут, так орут...

— Песни плохие, — сказал мужчина у телевизора. — Морального в них мало. А парень он хороший, это верно. Обходительный.

Мальчик, сидевший возле отца, сказал:

— И ничего не плохие песни, пап, а очень хорошие.

Мужчина поглядел на Степанова, сбросил со лба на глаза очки в толстой коричневой оправе и сказал:

— Вот, пожалуйста: отцы и дети. А говорят, нет проблемы.

— Проблемы нет, — сказал Степанов, — просто есть отцы и дети.

— Му́ра, собери чайку, — попросил мужчина.

— Сейчас закипит — сядем.

Степанов сказал:

— Мне очень неловко... Я к вам ворвался, а вы отдыхаете.

— Да бросьте вы, ей-богу, — буркнул мужчина. — Ну что вы как дамочка.

— Вы счастливые люди, — сказал Степанов.

— Все люди счастливые, только некоторые про это не знают.

— У меня есть приятель, — сказал Степанов, — он биолог. Занимается вопросами парапсихологии. Он года два проводил эксперименты на обезьянах: нашел у них в мозгу центры, ведающие наслаждением, и вживил в эти центры две пластины. Когда эти пластины замкнешь — наступает состояние наслаждения. Обезьяны все время держали эти пластины замкнутыми, а когда приходило время их кормить и надо было

разомкнуть пластины, обезьяны бились в истерике, царапались и кусались. Мой приятель предложил мне вживить эти самые пластины: все трын-трава, живи себе наслаждайся, а кругом — хоть потоп.

— Это фашизм, — сказал мужчина.

— Пожалуй, хуже.

— Наука нынче расшустрилась шибко, — вздохнул мужчина, — как дитя неразумное. Доведут они нас, ученые-то, до ручки. К нам на завод приезжают академики — те самые, из молодых. У них глаза стоячие... И у всех, как на подбор, голубые, будто молочные еще глаза...

С кухни жена крикнула:

— Помоги посуду вытереть, Вань!

Мужчина поднялся и сказал:

— Я сейчас.

XXVI

Никита танцевал, прижав к себе Дунечку. Он держал ее на руках и танцевал с ней, закрыв глаза.

— Тебе спать хочется? — спросила Дуня. — Да? Замучился со мной?

Никита покачал головой.

— А чего ж глаза закрываешь?

— Это хорошо мне.

— Закрывать глаза надо, если плачешь, глупенький.

— Ах ты Гегель мой дорогой, все-то ты меня учишь...

— Анечка насовсем ушла?

— Не знаю, Дунь, спроси что-нибудь полегче. Наверное, если у тебя появились сомнения, их надо пытаться решить с самим собой, чтоб никого не обманывать. Только надо, чтоб один человек умел ждать, пока другой в себе разбирается. Понимаешь?

— Ты как по телевизору говоришь — ничего не поймешь, если для взрослых.

Джаз ушел на перерыв. Никита отнес Дунечку за столик, и они начали пировать — Дуня лизала

мороженое, а Никита пил вино. За столом у физиков продолжал бушевать спор. К ним подсел новый товарищ — они все называли его Олей.

— Бросьте, — говорил Оля, — вы все ворчуны и нытики, противно слушать. Как старики! Вы прекрасного вокруг себя не видите, вы слепцы! Копаетесь, как воробьи в навозной куче. Физика вам плоха, биология вам плоха. Это вам не так, то не так! А что же так?!

Девушка с плоскими пальцами поправила свои темные очки и сказала:

— Оля, ты не прав. Прогресс требует правды. Говорить только о прекрасном и закрывать глаза на плохое — значит предавать прогресс.

— А видеть только плохое? Это что значит — ответь!

— Видеть только плохое — это значит быть слепым глупцом, лишенным дара видеть мир таким прекрасным, каков он есть, во всех его противоречиях. Видеть вокруг себя только плохое — это так же глупо, как видеть только одно хорошее, — сказала девушка.

— Ерунда!

— Почему?

— Ерунда — и все!

— По-моему, ты крупно путаешь два понятия:

брюзжание и неудовлетворенность. В основе и того и другого лежит четкое видение плохого. Только брюзга умирает от болезни желчного пузыря, а не удовлетворенный собой человек ставит крест на каменном угле и переходит к ядерному топливу.

— Э, — сказал Оля, — брось. Ты все это придумываешь, чтобы позубоскалить над нашими недостатками. Разве нет?

Никита обернулся и сказал:

— Слушай, толстый Оля. Лучший способ отметить годовщину революции это сосредоточить внимание на нерешенных вопросах. То, что можно уничтожить правдой, не существует. И заткнись. Ты болтаешь, как дешевый демагог. Пусть мне отрубят руку твои знакомые, но ты наверняка плохой физик и очень хороший болтун.

— У человека есть зубы, — сказала девушка с сигаретой, — попал в точку.

— Спекулянт, — сказал Оля. — Обычный спекулянт. Лирик. Что они знают?

Никита поднялся во весь свой длинный, нескладный рост и пошел на эстраду, а Дуня сказала:

— Никит, а я?

Он поднял ее, взял за руку, больно сжал ее паль-

цы и крикнул:

— Тихо!

В зале замерли. Никита отодвинул микрофон и начал читать стихи:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но зрелость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

В зале дружно захлопали. Никита поднял руки над головой и крикнул:

— А теперь пусть сюда выйдет этот самый Оля, и пусть он скажет свое кредо. Что ж ты пыжишься, толстый? Валяй.

Никита спрыгнул вниз, принял на руки Дуню и вернулся за свой столик. Девушка в темных очках

откинулась назад, протянула Никите руку, гибко обернувшись к нему, словно гуттаперчевая, и сказала:

— Вас как зовут?

— У меня довольно популярное имя, — ответил он. — Меня зовут Никита. Садитесь к нам, с ним же рядом противно.

Девушка подвинула свой стул к Никите и Дунечке.

Оля взял девушку за плечи и повернул ее на прежнее место. Он это сделал так грубо, что за его столиком все замолчали.

Никита сказал:

— Дуня, это очень важно — посиди одну минутку, ладно?

— А ты за чем? — тревожно спросила Дуня.

— За правдой.

Никита тронул Олю за плечо и сказал:

— Ну-ка, парень, выйди на минуту.

Оля поднялся и пошел к выходу. Следом за ним пошел Никита. Они вышли на улицу.

— Слушай, ты, — сказал Никита, — у таких, вроде тебя, обязательно есть дети, о которых вы и знать не хотите, а треплетесь по кафе о великой правде.

— Сопляк, — улыбчиво сказал Оля, — руки об

тебя марать не хочется.

— Зато мне хочется об тебя вымарать руки, чтобы потом помыть их с пемзой.

Оля бросился на Никиту. Никита перехватил его левую руку, рванул на себя, повернул запястье и швырнул громадного Олю через себя так, как учил Немировский. Тот, упав на землю, грузно ахнул и стал быстро-быстро перебирать ногами. Никита пошел в кафе не оглядываясь. Он сел за столик возле побледневшей Дунечки, поцеловал ее в лоб и сказал девушке в черных очках и ее затихшим соседям:

— Ваш Оля пошел собирать подснежники.

XXVII

Степанов теперь сидел на ступеньках лестницы, потому что в той квартире все легли спать. Его оставляли там, но он сказал, что пойдет поищет Никиту, и спустился вниз. Здесь он сел возле батареи, чтобы согреться, потому что его била дрожь, но батареи уже перестали топить и от них шел холод.

Степанов чувствовал, как у него горели щеки, и кровь пульсировала в висках, и очень щемило сердце. Мысли у него были отрывистые, быстрые. Если бы он постарался записать, о чем он сейчас думал, то ничего связного из этого бы не вышло. Он думал все время про Дунечку, иногда вдруг вспоминал слова Левона, который говорил, что человека можно подавить, но вмиг изменить нельзя. Потом он думал, что это мог отколоть Никита и где они сейчас, и отгонял от себя тот ужас, который ему мерещился. Иногда Степанов поднимался и начинал быстро расхаживать по темному парадному, но тогда озноб делался совсем невозможным, и у него начинали трястись ноги под коленками. Вдруг он ясно, из темноты, видел лицо Нади, когда она приходила к нему

после ссоры. Оно у нее тогда было как у Дуни, точно как у Дуни, только под глазами залегали коричневые пятна от слез. Она прощала легко и хотела, чтобы так же прощал он.

Степанов не мог больше сидеть в темном парадном и вышел на улицу. Летел тополиный пух. Гасли окна в домах. Были слышны шаги прохожих, которых никогда не слышно днем. Если слышны шаги на улице — значит, пришла ночь.

К подъезду подъехало такси. Степанов рванулся к машине. Из такси вышла Надя. Степанов и Надя стояли друг против друга — молча и неподвижно, только Степанов чувствовал, как у него все сильней трясется под коленкой и холодеет в висках.

Надя с трудом разлепила губы и чуть слышно спросила:

— Нет?

Степанов хотел ей что-то ответить, но ответить не смог и только медленно покачал головой.

— Где они?

Степанов снова ничего не ответил ей, хотя собирался сказать, что знает не больше ее самой. Он поднял плечи и развел руками.

Надя вошла в темный подъезд, а Степанов остался стоять у двери. Он вспомнил своего знакомого англичанина, доктора философии из

Лондона. Чуть наигрывая, он говорил Степанову:

— Каков закон отцовства? И есть ли он вообще? Конечно же есть. Люди живут по извечным законам. Но законы меняются. Любовь восемнадцатого века была романтической, подкрепленной серенадами. Она принадлежала немногим, та любовь. Революционный девятнадцатый век создал новую любовь — любовь самопожертвования. Она принадлежала многим, но не всем. Так же, по-прежнему, одни любили, другие продолжали человеческий род. В двадцатом веке — веке кинематографа — любят все. Высокие скорости через высокий риск рождают эгоизм. Мальчики и девочки двадцатого века считают, что самое важное в жизни — это удовлетворять возникающие желания. Так приходит забвение песни. Но в каждом веке живут люди старого века. Это вольтова дуга, если век восемнадцатый любит век двадцатый. Это счастье и отчаянье, это вера и безверие, это чистота и грязь. Хотя кто посмел бы назвать грязью поле после весеннего дождя? Или желтую чавкающую глину ранней весной, когда сойдет снег и ноги не выдерешь из студенистой желтой земли? Почему грязь? Грязь только тогда, если врут. Все остальное — чисто.

Либо разница в возрасте, либо одинаково сума-

сшедшие характеры, либо незнание, либо просто радость от всего, что происходит, — вот гарантия прочности чувства. Последнее, правда, редкостно и возможно только в том случае, когда нет детей, а символ жизни: «Все идет к лучшему в этом лучшем из миров».

Степанов пытался было спорить, но философ сказал:

— Бросьте, это моя исповедь.

XXVIII

— Никита, я домой хочу, — сказала Дуня, — здесь все какие-то сумасшедшие. Кричат, кричат. А зачем кричат — сами даже совсем не знают.

— Знают, Дунька.

— Пошли? А то мама будет беспокоиться.

Молодежное кафе смеялось, танцевало, пело. Лица молодых людей были красивы. За окнами проносились редкие машины. Фонари светили голубым светом. Посреди высоких домов независимо торчал огрызок месяца.

— Дунь, — сказал Никита, — пойдем, я наберу номер, а ты поговоришь с Анютой.

— Про что?

— Ну, как она доехала...

— Пошли...

Никита набрал номер. Дунечка взяла трубку и сказала:

— Алло. Это кто? Пожалуйста мне Аню. А кто это? Коля?

— Какой? — спросил тихо Никита. — Заика?

— Да, — ответила Дунечка, — с которым ты дрался. Это я не вам, Коля, это я Никите.

Никита взял у Дуни трубку и спросил:

— Вариант «природа не терпит пустоты» — так надо понимать твой визит?

Коля ответил:

— Ты дурак, Никитонский, о-обыкновенный полноценный д-дурак.

Никита повесил трубку и сказал:

— Дунь, едем к ним.

Они вышли из кафе. У дверей стоял Оля с тремя дружинниками.

— Это он, — сказал Оля, — это он, товарищи.

— Это он, это он, ленинградский почтальон, — сказал Никита, — какие еще будут откровения?

— Ты драку зачем начал? — спросил дружинник. — Придется с нами пройти.

— Что вы, ребятки, у меня Дуня спать хочет.

Дружинники переглянулись, и старший спросил Олю:

— Вы настаиваете?

— Да, категорически...

— Меня мама ждет, — жалобно сказала Дунечка.

— А мне ребро сломали! — выкрикнул Оля. — У меня бок синий.

Дружинники заулыбались, а Никита покачал головой и сказал:

— Хороший цвет, поди ж ты, и у такого по-

донка.

— Вот видите! Вот видите! — оживился Оля. — Вот, пожалуйста!

— Пойдем, Никита, — потянула Дунечка его за руку, — пошли, я домой хочу.

— Пошли, — сказал Никита и, отодвинув плечом Олю, пошел по улице. Дружинники его не остановили. Дунечка и Никита шли медленно, а у них за спиной шумел побитый Оля.

— Бежим, — шепнула Дуня, — а то догонят.

— Никогда не убегай, — так же шепотом ответил Никита, — наоборот, надо тихо идти. Ну мне и будет сегодня!.

— От мамы?

— И от папы тоже, хотя, конечно, сестрица, наверное, нахлещет по щекам, как в розовом детстве.

По улице медленно ползла поливальная машина. Никита поднял руку. Шофер затормозил.

— Приятель, — сказал Никита, — вот ребенок потерялся, везу к родителям, подбрось, а?

— А ты кто?

— Как кто? Милиционер.

Никита и Дунечка забрались к шоферу, и они, умывая засыпающую улицу, поехали к центру.

— Как же ты потерялась, красавица? — спросил

шофер. — Теряться — это последнее дело.

— А это Никита сказал, что я потерялась, а я не потерялась, я же вот сижу.

— Милиционер, ты чего ж обманывал?

— Не обманешь — не проедешь, — сказал Никита, — а денег-то нет.

Шофер достал из ящика яблоко и протянул его Дуне:

— Держи.

— Спасибо. А оно мытое?

— Ишь, врач нашелся мне тут.

Дуня стала грызть яблоко. Никита сказал:

— Вы как хищник — все по ночам да по ночам. По Садовому не поедете?

— Там другие мне бока наломают за конкуренцию. Я улицу Горького мою.

Возле памятника Пушкину Никита и Дунечка вылезли. Никита взял Дуню на руки. Дунечка, обняв Никиту за шею, спала и во сне морщила лоб.

XXIX

Надя сидела на подоконнике в пролете пятого этажа на темной лестнице и даже плакать не могла — так ей было страшно и пусто. Какая все мура и мелочь — все, что было сегодня, и все, что было плохого, которое привело в зал суда, по сравнению с тем, что происходило сейчас. Как это было нечестно по отношению к маленькому человеку, которого здесь нет!

Степанов стоял внизу, на том же месте, что и час назад. Мысли его перестали рваться на куски и сделались ровными и четкими. Он ясно, графически ясно понимал, что жить без этих двух женщин не может и не сможет. Не просто существовать — это всегда легко, а именно жить, то есть работать, делать свое дело, мучиться, сходить с ума, рвать написанное, стыдиться всего сделанного и снова делать. Ничего этого он не сможет делать никогда, если только рядом с ним всегда, до конца дней не будут две женщины — большая и маленькая, два любимых его человека, прекрасных и нежных.

Никита зашел в автоматную будку и снова позвонил к Ане.

— Анька, — сказал он шепотом, — это я. Ты что делаешь?

— Тебя жду, — так же шепотом ответила Аня. — Все равно ты никуда не денешься.

— Ты тоже.

— Почему ты так тихо говоришь?

— У меня Дунечка спит.

— Приходите ко мне.

— Тогда завтра я похороню двух родственников.

— Я тебя целую.

— Я тебя тоже.

— Я тебя целую.

— И я тебя целую.

— И я тебя очень целую.

— И я тоже...

XXX

...Степанов прижал Дунечку к себе и выдохнул — глубоко и судорожно. Дунечка спала тихо и что-то бормотала — строгое и очень, по-видимому, важное для нее. Иногда она улыбалась.

Никита открыл окно. Он увидел, как по улице медленно шел Степанов. На руках у него спала дочь. Надя шла за ним, уткнувшись ему в спину головой, и держала его рукой за левое ухо.

— Идиоты, — сказал Никита, — сумасшедшие идиоты.

Он подскочил, достав рукой до косяка, снял рубашку и брюки, прыгнул в постель. Укрыл голову подушкой и снова повторил, засмеявшись:

— Идиоты.

О книге

Юлиан Семенов, известен широкой публике, как создатель прекрасных произведений детективно-приключенского характера. Однако у него есть и не менее прекрасные произведения лирического характера. Одним из таких произведений является повесть «Дунечка и Никита» (1965).

Повесть основана на биографии Юлиана Семенова. В этой повести рассказывается об одном дне советской семьи журналиста Дмитрия Степанова — автобиографического персонажа, который появляется во многих произведениях Ю. Семенова (циклы о Костенко, Славине и др.) Супруги Степановы в этот день должны разводится, маленькую дочку Дунечку они оставляют на попечение брата Надежды Степановой Никиты. Однако у Никиты в этот день и экзамен в театральном ВУЗе, и репеитция записи на радио, встреча с девушкой, и вообще весь день распланирован. Но делать нечего и Никита берет Дунечку с собой. А Дунечка и рада, она любит гулять с Никитой, всем интересоваться и задавать множество вопросов, детских и не очень…

Но история похождений Дунечки и Никиты — это только часть произведения. В повести также раскрываются характеры и переживания супругов Смирновых, проблемы семейных и любовных взаимоотношений, когда любовь еще не ушла, а ужиться в семье уже невозможно. А еще это рассказ о высокой мере требовательности, о взаимном внимании, чуткости, принципиальности и душевной щедрости человека.

В 1966 году по книге был снят художественный фильм «Не самый удачный день» в котором играют Никита Михалков [роль Никиты], Светлана Светличная [Надя Степанова], Владимир Заманский [Митя Степанов], Игорь Кваша [Лева, друг Степанова] и другие прославленные актеры. Интересно, что на главные роли Никиты и Дуни были взяты их реальные прототипы. Юлиан Семенов был женат на сестре Никиты Михалкова. А роль Дуни исполнила старшая дочь Семенова — Дарья [Дунечка] Семенова, племянница Никиты Михалкова.

Константин «TRUNK» Хоботов.
Сайт LiveLib.Ru